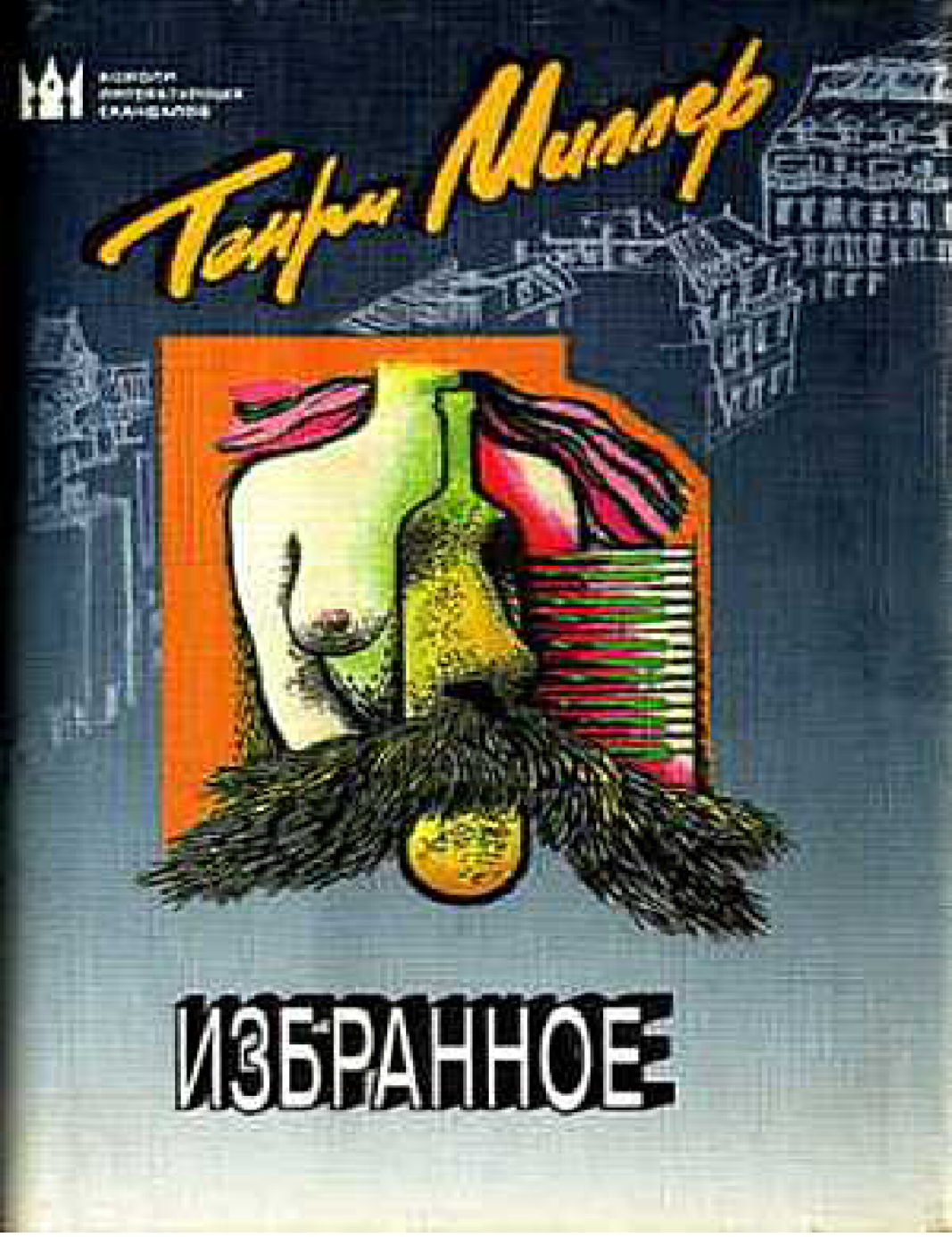
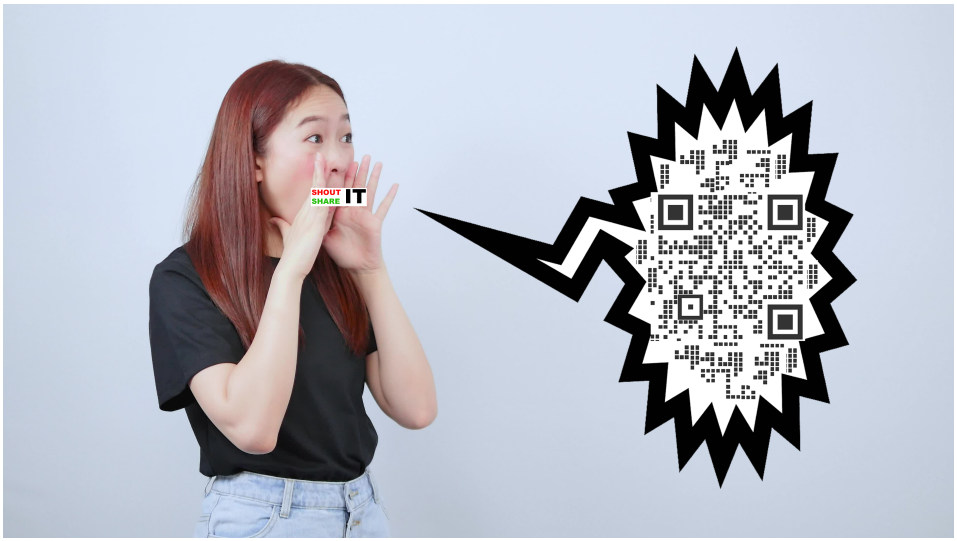
ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ БИБЛИОТЕКА

Генри Миллер



ИЗБРАННОЕ


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В сборник знаменитого американского писателя Генри Миллера вошли всемирно известные романы «Тропик Козерога» и «Черная весна», повести «Тихие дни в Клиши» и «Мара из Мариньяна», эссе, рассказы и автобиография «Моя жизнь и моя эпоха».

My Life and Times by Henry Miller by Playboy Press. New York. 1971.

Перевод с английского Зои Артемовой

Генри Миллер. Избранное. Издательство «Полина». Вильнюс. 1995.

- Генри Миллер
  - Ныне
  - Сочинительство
  - Биг Сур
  - Живопись
  - Париж
  - Детство
- Основные даты жизни и творчества Г. Миллера
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7

Генри Миллер

•

МОЯ ЖИЗНЬ И МОЯ ЭПОХА
Автобиография

Ныне

> *Тому, кто живет разумом, жизнь видится комедией. Для тех, кто живет чувствами или подвержен эмоциям, жизнь — это трагедия.*

Начну с того, что большую часть своего времени провожу совсем не так, как хотелось бы. Все потому, что как-никак у меня есть совесть — обстоятельство, о котором я сожалею. Я человек, считающийся со своими обязательствами и обязанностями, а ведь это те вещи, против которых я восставал большую часть своей жизни. Мне хочется сказать: е… я все это, е… я вас всех, вон из моей жизни. Это то, как я чувствую. Повторяю, мне хотелось бы, сколь это возможно, ничего не делать, и отнюдь не в фигуральном смысле. Вести почти растительную жизнь. Конечно, это не в буквальном смысле прозябание, но для меня это означает бездеятельность, игнорирование того, что люди считают важным. Последние двадцать лет я придаю особое значение переходу от действия к созерцанию. Мне гораздо интереснее созерцать, чем что-то делать. Нет ничего такого, чего я действительно хочу достичь, ничто не представляет для меня истинной ценности. Нет ничего настолько важного, чтобы это необходимо было делать, и все же каждый день я заставляю себя тянуть эту лямку, навязанную мне другими. Существует так много проектов. Каждый считает, что обязан знать, чем я занят, что за жизнь я веду, что это значит и т. д. В определенном смысле я чувствую крайнее отвращение, заново перемалывая свою жизнь или планы на будущее.

Я не хочу строить никаких планов, у меня нет конкретных планов на будущее. Каждый день, просыпаясь, я хочу сказать: «Le bel aujourd'hui»,[1] — как говорят французы, и к этому нечего добавить. Я хочу прожить день по тому образцу, какой мне нравится, а никакого образца у меня нет. Я достиг той удивительной, восхитительной стадии в своем развитии, на которой в каком бы то ни было образе жизни попросту нет необходимости. Но на этом все и кончается. Прежде всего, меня слишком хорошо знают: моего внимания домогаются, и мои друзья часто превращаются в моих злейших врагов. Игнорировать их я не могу и даже не пытаюсь. Фактически выбора не остается. Мы привыкли считать, что у нас есть альтернатива, но ваш темперамент, характер, и предыдущий образ жизни — все, что вы

делали в своей жизни — все это диктует ваши поступки, хотите вы того или нет.

Таким образом, в известной мере, я подчас ощущаю себя своей собственной жертвой. Создал произведение, которое многие считают незаурядным, и вот за него и расплачиваюсь. Обо мне говорят: «О, должно быть, сейчас он хорошо устроился. У него есть деньги, красивый дом, бассейн, вокруг всегда девочки». Ну, это же иллюзия.

Готов признать: жизнь моя и впрямь ничуть не скучна. Мимо меня все время проходит столько людей, я имею в виду друзей и приятелей друзей, и женщин, что я никогда не страдаю от скуки… Иногда мне хочется побездельничать, чтобы ничего не делать и чтобы время тяжелым грузом легло мне на плечи. Но я проклятый, может быть, блаженный, одним словом, человек с вечным двигателем в голове. Колесики никогда не останавливаются. По ночам я по два-три раза вскакиваю, чтобы записать, что я хочу сделать завтра. А завтра я ничего не хочу делать. Но что-нибудь сделаю. Займусь поисками книги, которую давно хотел перечитать. Мой мозг постоянно работает.

В известном смысле, я живу в непрестанном противоречии с самим собой. Хотя и не слишком, я бы сказал, для меня обременительном. Я живу в противоречии, когда говорю, что все эти вещи не имеют значения, — и все же придаю им значимость Это не пустой треп. Все, что я намереваюсь сделать, должно быть выполнено. (Это во мне говорят немецкие гены, которые я ненавижу.) И я это делаю. Выполняю эти приказы, эти импульсы. Я всегда им поддаюсь, я очень ко всему восприимчив. Со мной беседует друг, потом он уходит, невольно заронив мне в голову кое-какие мысли. После его ухода я записываю, что он сейчас сказал по поводу того или другого, выясняю об этом еще что-нибудь! Понимаете? Такова моя натура!

Сейчас я совершенно не стеснен в деньгах. Наверное, я мог бы прожить года два на свои сбережения — я имею в виду, если деньги совсем перестанут поступать, если больше ничего не заработаю. Тем не менее, думаю, что всегда получу авторский гонорар со своих книг, которого хватит на жизнь. Но, случись такая оказия, я не смог бы жить так, как живу сейчас. Впрочем, и это меня не беспокоит. Теперешний образ жизни на самом деле меня не устраивает. Я всегда жил очень скромно: я не стремлюсь к роскоши. Мне не нравится держать у себя прислугу. Я привык выполнять массу работы по дому. Какое-то время я полностью вел хозяйство. Подметал полы, мыл посуду, готовил пищу. Мне больше не хочется этим заниматься, но я умею это делать. Я привык к этому в Париже, где мне приходилось все делать

самому. Обычно готовил друзьям какие-нибудь изысканные блюда за такой промежуток времени, что вы никогда не поверите, будто такое возможно. Не знаю, как мне это удавалось. Время от времени я по-прежнему готовлю себе сам.

Идеальный для меня день выглядел бы так: прежде всего мне никто не мешает, никаких телефонных звонков, гостей и важных писем, требующих срочного ответа. День, посвященный самому себе. Ну, тогда я мог решить написать кому-нибудь добровольно, это мое любимое занятие. Я бы встал очень поздно; не раньше, чем почувствовал бы себя полным сил и энергии. Я бы не считался со временем. Который бы час дня ни был — черт с ним! Один из вопросов, докучающих мне больше всего: который час? Вовремя поесть, вовремя сделать то, другое — нет, это я ненавижу. Надо сказать, когда у меня хорошее настроение, Я мог бы даже написать что-то помимо писем, потому что существует много такого, о чем мне все же хотелось бы написать. Я не говорю о большой книге.

Но первым делом я бы всласть поплавал. А потом мне хотелось бы какое-то время в течение дня, предпочтительно после полудня, провести в компании близкого друга и хорошего игрока в пинг-понг, чтобы пару часов поиграть. Насладился бы плаванием, пинг-понгом. И если возможно, отведал бы французской кухни. Затем с удовольствием посмотрел бы хороший фильм, что мне редко удается. Если выбранный фильм мне не нравится, я могу наудачу пойти посмотреть японский. Из десяти — девять мне нравятся. Но если иду на фильм, рекламируемый как сногсшибательная удача, то девять раз из десяти ухожу через десять-пятнадцать минут. Мне редко попадаются первоклассные фильмы. (Удивительное исключение — недавно увиденный мной «Сатирикон» Феллини.) Наконец почитал бы. Всегда читаю перед сном и неизменно у кровати лежат шесть-восемь книг. Читаю то одну, то другую.

Я всегда счастлив видеть у себя женщин, и, конечно, они бывают у меня в гостях. По этой части мне есть что порассказать. Для меня это не самое главное — трахнуться. Мне гораздо интереснее хорошо провести время с женщиной и, если появляется повод лечь в постель, прекрасно, но если — нет, тоже хорошо. Правда, это больше не является sine qua non.[2] Окружающих меня женщин я оцениваю так же, как вы оценили бы цветы. Они что-то вносят в атмосферу; делают жизнь более интересной. Я всегда предпочитал женское общество мужскому. Но я хороший друг и у меня очень немного близких друзей среди мужчин. Я легко схожусь с людьми, но больше не стремлюсь обзаводиться друзьями. Моя жизнь наполнена друзьями, но они,

так сказать, скорее мешают моим успехам, чем способствуют. Это жутко трудно выразить. Это не совсем то, что я имею в виду. Я многим обязан друзьям, но стоит мне заняться тем, чем я хочу, — и именно друзья мешают мне в этом больше, чем недруги. Они отнимают у меня много времени. Не поймите меня превратно. Я ценю дружбу. И отнюдь не мизантроп и, думаю, что лоялен.

Но поскольку я привлекаю внимание стольких людей, они порой досаждают мне, впиваются в меня как клещи. Когда я слышу звонок в дверь, господи! Помню, читал о Д. Г. Лоуренсе, что он обычно прятался в кухне, где угодно, лишь бы его не настигли. «Не говорите, что я дома, — повторяю я без конца. — Скажите, я уехал далеко»… Не думаю, что такое отношение вызвано возрастом, однако этот фактор не обойдешь. Всю мою жизнь во мне жил невроз страха, совсем как по части телефона — еще со времен работы в «Вестерн Юнион», когда на столе у меня стояло три аппарата и я пытался разговаривать с тремя корреспондентами одновременно. Что же, посмотреть на меня люди приходят всю жизнь — в основном незнакомые, которых я не приглашал. К этому можно относиться хорошо, плохо или безразлично: важнее другое: как этим всем управлять? Это — за пределами человеческих сил. Общаться я люблю со своими настоящими друзьями. Порой впускаю к себе незнакомца и он оказывается замечательным человеком. Но это не означает, что я хочу еще раз увидеться с ним. Одной встречи достаточно.

В начале жизни узы дружбы крепки; вы стараетесь решить проблемы друг друга. Что ж, у меня больше нет такой необходимости. Прошло много лет с тех пор, как она у меня возникла.

Есть у меня один очень близкий друг, с которым мы часто видимся. Ему ничего от меня не надо. Его имя — Джо Грей. Я встретился с ним где-то десять лет назад на одной вечеринке в доме Берни Вульфа. Того самого Берни, который написал «Настоящий блюз». Вошел Джо, и мы разговорились. Мы проболтали, всего несколько минут, и вот Джо говорит: «Мы выросли в одном районе в Бруклине». А я ответил: «Так это ты тогда был драчуном?» Видите ли, у него именно такой вид? Мы заговорили о боксе и борцах. Это нас сблизило. Затем он перешел на книги. Рассказал мне обо всем, что читал, и это было великолепно! Как я понял, Байрон был одним из его фаворитов. Он любит Китса и Шелли, но особенно — Байрона и может подробно его цитировать. Когда я переживал один из периодов любовного томления — порядком затянувшийся, — Джо пришел ко мне с маленькими обрывками бумаги, сплошь исписанными цитатами из Байрона. «Думаешь, как ты разочарован? Посмотри,

что он сказал!»

Он актер и каскадер — довольно известный среди голливудских киношников. Он абсолютно естественен и никогда ни о ком не говорил гадостей. Однако как-то вечером, в одном из интервью, он, подумать только, взял и играючи прошелся по моим литературным произведениям. Понимаете, что я имею в виду — играючи? Это не его вина. Я хотел, чтобы он был просто самим собой, говорил на своем собственном, очень специфичном жаргоне. У него свой особый, богатый идиомами язык. Он также умеет слушать. Схватывает то, что вы говорите, даже если это выше его понимания. Как-то вечером он пригласил девушку, с которой познакомился на студии. Думаю, американку японского происхождения. Он говорил мне, что она прехорошенькая. Однако рискованно полагаться на его мнение. Первым делом он обращает внимание на женские ножки — он к ним неравнодушен. Затем смотрит на грудь. Грудь должна быть большой. Подозреваю, что на лицо он обращает внимание в последнюю очередь.

Недавно, где-то в прошлом году, я стал снова интересоваться музыкой, в особенности фортепьянной; когда-то давно я сам частенько играл. Мне страшно повезло, что я подружился с Якобом Гимпелом, концертирующим пианистом. Сейчас я два раза в неделю хожу к нему домой, чтобы поприсутствовать на его уроках по мастерству. Должен сказать, что в последние годы один из сильнейших источников вдохновения для меня — посещение этих занятий. Это раскрывает мне весь диапазон новых направлений. Видите ли, большинство его учеников — превосходные пианисты. Каждый исполняет заранее условленное произведение. После первого прослушивания он заставляет их сыграть его еще раз, останавливая и поправляя, точно указывая на ошибки и просчеты в интерпретации. Должен подчеркнуть это слово «интерпретация»; ведь именно это слово интерпретация — одно из самых, значимых для меня. Рассмотрим область астрологии. Существуют астрологи и звездочеты. Однако интересны лишь те, кто обладает даром интерпретации. Научиться составлять гороскоп может любой, но необходимо что-то еще, чтобы дать широкое истолкование человеческого характера и судьбы. Ну, то же самое в музыке, критике, литературе, живописи. Каждый раз на этих занятиях по мастерству я узнаю что-то новое об искусстве интерпретации.

Всерьез я уже не играю на фортепьяно. Время от времени сажусь за него и дурачусь — имитирую сценическую манеру исполнения какого-нибудь пианиста, делаю вид, что играю. Конечно, я улавливаю все фальшивые ноты. Никогда не пытался

играть серьезно: это требует слишком больших усилий. Мне, как пианисту, недостает самого важного — таланта. Вот почему я от этого отказался. Я не могу импровизировать и не могу интерпретировать. Умение сыграть сонату Бетховена для меня ничего не значит. Смог бы я когда-нибудь научиться играть ее как мистер Гимпел или его ученики? Никогда, никогда в жизни. Смог бы я научиться играть ее сносно? Возможно. Если не можешь делать это хорошо, оно не приносит радости. У меня слишком тренированный слух, чтобы удовлетвориться посредственным исполнением.

Всё требует времени и дисциплины. Вы должны систематически практиковаться, иначе потеряете свои навыки. Необходимо этим делом жить и делать его каждый день; вот одна из причин, почему столь непостижим такой человек, как Пикассо. Он никогда не утрачивает своей самобытности, ибо постоянно работает. Он больше даже над этим не задумывается. Самобытность уже просто передалась его рукам. Он берет кисть, и она сама подсказывает ему, что делать, по крайней мере, мне так кажется.

Должно быть, в моей натуре есть нечто извращенное. Я имею в виду: меня непрестанно подмывает стать полной противоположностью тому, чем я являюсь, и одновременно — если уж быть до конца честным и откровенным — меня вполне удовлетворяет, что я таков, каков есть. Мне не так уж хочется меняться. Вот оно, страшное противоречие. Признаюсь в этом безо всякого стыда. Подчеркиваю несопоставимость между «быть» и «делать», ибо это не просто мой персональный конфликт: это конфликт современного мира. Мы достигли такой стадии, с которой можем критически взглянуть на нашу деятельность (отнюдь не на наше творчество) и признать: она деструктивна. Она подрывает наше бытие. Бессмысленное копошение, жужжание рабочих пчел в улье — вот чего я не могу принять.

Должен еще кое-что добавить. Всегда есть определенная сторона моей жизни, которую я храню в тайне, — даже от своих ближайших друзей. Об этой потаенной стороне жизни я никогда не пишу, а между тем она является очень важной частью меня. (Есть один небольшой сектор жизни, который постоянно уменьшается в размере, и эта отдаленная часть, эта область души, может быть, самая важная, поддерживает нас, позволяя пройти через те испытания, что подбрасывает жизнь.)

Я — человек, который постоянно влюбляется. Мне говорят, что я неизлечимый романтик. Наверное, так и есть. Во всяком случае, я благодарен тем силам, которые способствуют тому, что я таков. Это заставляет меня печалиться и радоваться; мне бы не

хотелось чувствовать иначе. Люди лучше работают, лучше творят, когда они влюблены. Ибо это правда: если ты — человек творческий, тебе приходится много работать. Я часто думаю о Ветхом Завете — как это Бог за шесть дней сотворил мир, затем счел, что он хорош, и на том остановился. Надо думать. Он остался доволен своим творением.

Но для меня эта картина сотворения мира неточна, поскольку процесс творчества непрерывен; однажды вступив на этот путь, становишься неотъемлемой частью собственного творения и уже не можешь остановиться. Все более или менее осведомленные и сообразительные люди понимают, что мы должны играть в жизни какую-то роль. Я не говорю, что мы выбираем себе роль; возможно, нам ее навязывают. Но мы действительно убеждаемся, что играем роль. Люди часто говорят: «О, я могу сделать то или мог — другое», — но это неправда. Выбора нет. Ты таков, каков есть, и таковым останешься. Но обязанность — играть роль (неважно, скромная она или значительная) — придает силу вашему «я», придает вашей жизни смысл. Вы состоялись как личность, если играете свою роль по мере способностей. Трагедия нашего общества состоит в том, что люди не понимают своей роли, не осознают ее. Их стоит пожалеть.

В каждом интервью меня обязательно спрашивают, как случилось, что я стал писателем. В том, как я на это отвечаю, есть своя доля правды, но не более того: остальное мне неведомо. Я объясняю, что пытался найти себя в чем-то еще, но потерпел неудачу, почему бы не испытать себя на писательском поприще? Это неполный ответ, и тем не менее он правдив. Дело в том, что я боялся стать писателем. Не думал, что хватит способностей — слишком уж капитальная задача. Кто я такой, чтобы заявить: я — писатель? Я имею в виду: писатель с большой буквы — Достоевский, Джойс, Лоуренс и т. д. Так что я оставил за собой эту задачу.

Каждый день люди подавляют в себе инстинкты, желания, порывы, интуицию. Нужно выбраться из е… ловушки, в которую попадаешь, и делать то, что хочешь. Но мы говорим себе «нет», у меня жена и дети, об этом лучше не думать. Вот каким образом мы каждый день совершаем самоубийство. Было бы лучше, если бы человек занимался тем, что ему нравится, и терпел неудачу, чем становился преуспевающим ничтожеством. Разве не так?

Я считаю, что существование дикого зверя — преследуемого охотником, испытывающего кучу разных страхов — предпочтительнее существованию коммивояжера с портфелем. Ведь это ваша собственная жизнь, *ваша* нищета, ваше несчастье. Вы не перестаете быть себе хозяином. В то время как

существование коммивояжера — сплошная шизофрения: с одной стороны, он муж, отец, добытчик хлеба насущного для своего семейства; с другой — наемный раб, пресмыкающийся перед своим боссом, вынужденный делать кучу вещей, которые ему не по нраву. Но когда тебя ограбили и ты вынужден просить о помощи, ты — ничто, ты одинок, беззащитен, брошен на произвол судьбы и ты уязвим. Ты ощущаешь, что все время торгуешь самим собой. Правда, существуют два вида рабства. Вам этого не избежать; и тот, и другой ужасно неприятны. Но, делая то, что вам нравится, вы все же не теряете ощущения независимости, даже если это несет за собой голод и страдание.

Возможно, в этом и заключается сермяжная правда: в конце концов, в высшем смысле слова, жизнь — это *рабство*. Но существует рабство добровольное и вынужденное. По собственной воле себя обрекают на рабство поистине великие личности. Говоря об этом, я не имею в виду себя. Я говорю о гораздо более выдающихся людях — таких, например, как святой Франциск. Он решил посвятить свою жизнь служению человечеству и охотно, даже радостно шел на всякого рода жертвы и унижения.

Меня чрезвычайно интригует мысль, что, возможно, и я, что называется, раздвоенная личность. Недавно мне несколько раз гадали по руке и всегда находили, что линии сердца и ума пересекаются. По общему мнению, это странно. Что это означает? Не знаю. Сначала я решил, что это показатель внутреннего конфликта. Но это больше похоже на противоречие между мыслью и чувством. Тому, кто живет разумом, жизнь видится комедией. Для тех, кто живет чувствами или подвержен эмоциям, жизнь — это трагедия. Мне кажется, что во мне того и другого предостаточно. Меня никогда не покидает ощущение внутренней раздвоенности. Часто рассматриваю два варианта. Я не мыслю логически. Подчас мысли продиктованы моими чувствами. Когда об этом пишу, обычно стараюсь избегать высказываний о том, оптимист я или пессимист. Хотелось бы верить, что существует нечто такое, что стоит выше разноименных полюсов. Полагаю, таково истинное положение вещей.

Слово «мир» обычно подразумевает молчаливое сопоставление с чем-то иным. Задумывались ли вы о том, что я имею в виду, говоря, что такой-то человек — *от* мира сего, Либо, наоборот, *не от* мира сего? Получается, что мир представляет собой нечто такое, против чего человек борется. Он хочет жить в обществе, а не вне его. Стремится приподняться над ним. Тем не менее я действительно верю, что единственный способ доказать, что живешь вне общества, — это полностью его принять. Вам никак не обойти диктуемых обществом условностей. Вы должны

примириться со всем, что связано с этим обществом, а потом доказать, что существует нечто большее.

Это вовсе не означает, что вы не должны руководствоваться критериями признания или отторжения. Вы не должны быть жертвой, не должны попасться в ловушку, которую представляет собой общество. Надо суметь проникнуть в него, принять участие в его жизни, осмыслить его суть и при этом сознавать: то, что вами движет и направляет, ведет по жизни, не всецело обусловлено тем обществом, в котором вы живете; существуют и другие факторы, невидимые, неуловимые, непостижимые, которых не включает или не охватывает понятие «общество».

Я человек религиозный, но не чрезмерно. Давайте это упростим. Когда мы говорим: «Не хлебом единым жив человек», — это символическое утверждение, изложенное выразительным языком. Оно означает, что отнюдь не борьба за благосостояние: зарабатывать на хлеб насущный, обеспечивать и защищать жену и детей — придает человеку сил и поддерживает. Это нечто, что нельзя потрогать, это духовное начало. Оно не поддается описанию, точному определению. Это больше всего остального: оно включает в себя все.

Мне кажется, это ощущаешь, когда с ним соприкасаешься. Думаю, вы сознаете это, разговаривая с людьми. Одни — слабы духом, другие — сильны. Духовное начало есть у всех, но в некоторых случаях пламя души едва мерцает. Кажется, внутри у большинства людей — только тлеющие угольки. Это понимаешь, противопоставляя их личности вдохновенной, яркой. Те, в ком ярким пламенем горит душа, — экстраординарные образцы рода человеческого.

В основной массе — мы просто человеки. Это правда, но все же, развивая эту идею, мы не очень далеко продвинемся. Относиться к людям как просто к «человекам» — как раз то, против чего я всегда восстаю. Хорошо так говорить в общении, это означает, давайте относиться друг к другу с большей теплотой, по-дружески, с симпатией. Хорошо. Иногда (а я думаю, что даже безгрешные люди стремятся на этом сыграть), иногда людей необходимо простимулировать: нужно их подтолкнуть, потормошить, надавить. Дать тычка, чтобы они проснулись. Из добрых побуждений: чтобы заставить их узнать самих себя, свои возможности. Ведь большинство людей живет гораздо ниже своего потенциала. Когда мы говорим «просто человеки», то имеем в виду тех, кто живет ниже нормы умственного кругозора, кто не стремится его расширить. Они — как мягкая подушка, на которой мы все удобно примостились. На самом-то деле «человеки» — это те, кто нас поддерживает. Это они работают на

общество. Но даже они в состоянии заниматься другим делом, более значительным. Не думаю, что так называемая деятельность общества, эта каждодневная, окруженная ореолом работа, действительно так важна. Было бы намного, намного лучше, если бы людям приказали бездельничать, увиливать от своих обязанностей, проводить время в праздности, веселиться, расслабиться, отбросить все заботы и тревоги. Думаю, тогда вся эта работа делалась бы как-то иначе. Ведь это по существу одно и то же: повседневная работа и черная работа.

Иисус сказал: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут». За этим кроется мысль, что мы суетимся, делая эту работу не потому, что ее необходимо выполнять, а потому, что мы — хлопотуны и не знаем, как выплыть в потоке жизни. Предпочитаем отчасти бессмысленную активность насекомого истинной деятельности, возможно, часто не активной, а явно пассивной. Я не призываю к покою и инертности. Я говорю о том, что в наших действиях должен быть здравый смысл, они должны что-то значить. А большая часть того, что мы делаем изо дня в день, бессмысленна.

Собираюсь сказать нечто такое, что прозвучит полной противоположностью моим предыдущим словам: а ведь очень часто этим парадоксальным свойством обладает истина. Можете рассматривать это: как противопоставление двух составных частей единого целого. Я имею в виду человека, безоговорочно принявшего сегодняшнюю жизнь, который делает это сознательно и обдуманно получает от этого удовольствие. Он почти так же свободен, как человек, порвавший с этой жизнью. Когда полностью что-то признаешь, перестаешь быть жертвой этого. Но таких людей — единицы.

Я часто смотрю на обыкновенных людей, простых, скромных, и завидую им. Восхищаюсь ими. Они не сомневаются, в то время как мы допрашиваем один другого или исследуем общество и пути его развития. Они никогда и голоса не подадут в этом направлении. Они согласны делать то, что им предлагают, и несут свой крест. В каком-то смысле в этом есть некая красота и благородство. Они простодушные люди. Они эмоциональны, даже если благоговейно не выражают это на религиозном языке. На самом деле они действуют как монахи. Они примирились со своею участью. Сейчас мы знаем, что невротик — это человек, имеющий нечто общее с паралитиком. Он не в состоянии ни работать, ни двигаться, ни писать, ни рисовать, ни заниматься любым другим делом. Он постоянно думает, мечтает о будущем или копается в прошлом, осмысливает его с точки зрения идеала. Это его, так сказать, смертный грех. Возьмите, к примеру,

сюрреалистов. Посредством автоматического письма они пришли к важному открытию: к тому, что, переставая думать и отдавать себе отчет в важности того, что делаешь, выпускаешь наружу некоего джинна. И этот «джинн» прекрасно знает, что делает.

Так и мне бывало трудно начать писать. Но я начинал. Начинал с того, что первым приходило в голову — обычно полная чепуха. После одной-двух страниц все шло своим чередом. Не имеет значения, с чего вы начинаете — вы всегда вернетесь к самому себе. Вам не дано избавиться от самого себя. Возьмите таких людей, как Флобер, Бальзак, Генри Джеймс, их считают довольно объективными писателями. Они не писали от первого лица. Они создавали типы, выдумывали характеры. Всегда апеллировали к чему-то внешнему. Тем не менее вы всегда узнаете Генри Джеймса, всегда узнаете Бальзака в том, что они пишут. Например, сравним Тургенева и Достоевского. Достоевский все время выплескивает себя наружу. Тургенев — блестящий стилист, традиционалист. Но и Тургенев не мог отстраниться от самого себя. Вы узнаете его в каждой строчке. Не имеет значения, как вы приступаете к делу, вы всегда вернетесь к самому себе и наболевшим темам. Кстати, Дали говорил об одержимости художника так, словно сказать просто «художник» значит ничего не сказать — если только он не ненормальный и не одержим навязчивой идеей. И Достоевский, безусловно, был ненормальным человеком. Дали же скорее напоминает мне одержимого навязчивой идеей. И тот, и другой — примеры людей, живущих во власти чего-то большего, чем они сами.

Другие художники пытаются этого избежать. Под «другими» я имею в виду тех, кого мир приемлет более благосклонно, как более совершенных, более изысканных мастеров слова. К примеру, так отнеслись бы к великому романисту Толстому. С другой стороны, вот Диккенс. Абсолютно противоположный тип личности. Кто больше взволновал общество? Я бы сказал, что Диккенс. Я действительно думаю, что Диккенс больше растрогал общество, чем Толстой. Считаю, что Диккенс переживет Толстого. Он апеллировал к более глубоким источникам гуманности. И, кстати, надо заметить, был также большим юмористом. Это его великолепная, замечательная особенность. Он заставляет нас смеяться над собой.

По-моему, Бодлер сказал: «Всегда будь пьян». Но что это значит? Всегда будь восторженным! Будь всегда полон божественного упоения! Вот каково значение этих слов. Речь шла не о бессмысленном пьянстве. А кто еще прославлял это состояние в своих произведениях, как не Рабле? В одной из моих книг есть занятный отрывок, где я цитирую валлийского писателя

Артура Мейкена. Он рассуждает о природе непристойности у Рабле, о многочисленных непристойностях, которыми пестрит его книга. И приходит к приблизительно такому выводу: «Заметьте, это каталог. Это нечто из ряда вон выходящее. Нечто, превышающее норму, некая перегруженность; в нем скрыто что-то, лежащее по ту сторону смысла».

В западном мире не найдешь двух более отличных друг от друга обществ, чем представляли собой Нью-Йорк и Париж в 1850-е годы; и все же Бодлер нашел для себя нечто родственное в произведениях и личности Эдгара Аллена По. В известном смысле оба были изгоями. По был человеком с весьма сомнительной репутацией. А Бодлер — и того хуже. Он сам так считал. Он наплевал на общество. И все время мы сталкиваемся с такими явлениями, со сходством внешне непохожих городов, разных индивидуальностей.

Мою книгу о Рембо завершает кода, в которой есть нечто сюрреалистическое. Чтобы написать эти две или три страницы, я просмотрел множество книг в поисках дат, имен и названий. Вот что я пытался отразить: по мере того, как XIX век подходил к концу, все выдающиеся художники этой поры становились трагическими фигурами. Как вы знаете, XIX столетие было веком материального прогресса, так называемого просвещения, рационализма и т. д. Однако художники той эпохи против всего этого восставали. Все они были распяты. Многие рано умерли, причем мучительной смертью. Жизнь Ницше оборвалась в психиатрической лечебнице. В возрасте 34 лет друг за другом, в пределах одного и того же года, уходят Ван Гог и Рембо. Это целый каталог несчастий. Однако все эти люди верили, что наступит более счастливая эра.

Я говорю об этих людях с истомленным духом, ибо именно в изгоях обретала себя духовность. И именно духовность подвергалась крестным мукам в XIX столетии. Они стали изгоями как раз в силу того, что пытались сохранить то, что жизненно важно нам. Возьмите Блейка. Он начал в XVIII веке и продолжил в XIX-ом. Он был выдающейся личностью, пророком, человеком-загадкой. Затем идет Ницше. За ним — такой сумасшедший, как Стриндберг. Какой бунт! Как он пригвоздил общество к позорному столбу! Эти индивидуальности показывают, что современный мир распадается на куски. Его дилеммы — дилеммы пигмеев. Такие люди, как Блейк, Ибсен, Ницше, воплотили в своих произведениях специфическую трагедию современного человека. Они провидели ее. Провидели, что произойдет с миром и человеком. Заглянули в самый корень обуревающих человека проблем.

В XIX столетии человек как никогда раньше начал испытывать чувство одиночества, по крайней мере, так я понял из истории. На протяжении века он томится одиночеством и чувствует себя все более и более одиноким, все более и более разобщенным. Его разбивают вдребезги. В этом мире он ощущает себя потерянным. Он существует сам по себе, чего никогда прежде не было, поскольку в прошлом он был привержен традициям и обычаям. Сегодня горизонт пуст: нет великих поводырей, нет Моисея, который мог бы вывести нас из пустыни. Человеку ныне предстоит спасать себя самому. Ему не к кому обратиться за помощью. Такова отчаянная и в то же время обнадеживающая черта современной эпохи. Человек должен осознать самого себя как нечто большее, чем плоть и кровь, или он погибнет.

Говорят, что у нас никогда не будет другого спасителя. Спасителей хватало. Все они указывали человеку выход. Сейчас он должен выбираться сам. В конечном счете, это неплохая идея. Положение человека сейчас трагично — в том смысле, что на чашу весов поставлена его жизнь. Он действует на свой страх и риск. Жить или умереть. Живи по максимуму! Религиозная история общества сводилась к тому, что человек жил на костылях. Сейчас мы отбрасываем костыли прочь. Теперь у нас появилась альтернатива: принять или отринуть Бога. То, о чем мы мечтаем, может быть воплощено не в туманном будущем, а ныне.

Мышление западного человека вращается вокруг категорий добра и зла. Но метафизика индуизма идет дальше: она предлагает единственное решение — возвыситься над конфликтом, избегнув одностороннего отождествления одного — с добром, другого — со злом. Для этого необходимо видение, способное объять то и другое. Это почти богоподобная позиция, поскольку бесстрастно взирать на человека и сущее — привилегия Бога. Завтра вы умрете; всякое может случиться. Бог не тревожится за вас. Говорят, он присматривает за воробьем. Для меня все это — не более, чем пустой набор слов. Насколько нам известно, Бог никогда ни о ком не заботился. Мы сами о себе заботимся и к тому же сами себя изводим. Так что, когда заходит речь о шизофрении, я не считаю, что сейчас — плохие времена и что когда-то в отдаленном будущем наступит нечто противоположное. Я вообще так не думаю. Считаю, что единственный выход для *homo sapiens* без остатка вымереть. Должен возникнуть иной человек. У него будет иное сознание. Он не будет терзаться нашими проблемами. У него появятся другие. У него не будет того, что я называю низменными, ничтожными проблемами. Самые низменные проблемы, с моей точки

зрения, — голод, война, несправедливость. Это проблемы, с которыми следовало покончить мириады лет назад. Любой мыслящий, чувствующий человек выше этого. Для него они уже не проблемы.

Возьмите такого человека, как Кришнамурти: я снова слушал его на днях. Его спросили о продовольствии для Индии и он ответил, что, хотя оно и может облегчить для кого-то существование, данную проблему надо рассматривать гораздо шире. Он — один из немногих в этом мире, кто не сказал: «Понимайте так, понимайте эдак». Он говорит: «Раскройте глаза, расширьте поле видения!» Он не призывает отправиться в ту или иную церковь и поверить в ту или иную идею. Он говорит, что по существу все религии схожи. Они предлагают уход от действительности, а не разрешение вопроса.

Я обратил внимание, что в литературе и философии как никогда раньше усилилось влияние Востока. Когда мне было восемнадцать, я увлекался китайской философией, а позже — индийской, но когда я говорю о Кришнамурти, все это отступает на второй план. Я тоже верю, что философия никогда не принесла никому никакой пользы. Другое дело — метафизика. Есть игры, в которые играет человек. Он обладает интеллектом; следовательно, ему надо найти применение. Это позволяет развлечься, но не более того. Не этим жив человек. Кришнамурти спросили, что он думает о смерти. Он отвечает: «Ну, кто же знает про это?» Как это верно! Никто про это не знает. Зачем об этом беспокоиться? Главное — не бояться. Ученые в известной мере свободны от этого. Ведь они тоже не знают, что их ждет, но не мучаются по этому поводу так, как верующие люди. Они сами ставят перед собой задачи, и задачи эти неизвестных величин. Но они работают беспристрастно. Однако я действительно верю, что человек должен всегда держать перед собой проблему жизни и смерти. Мне не импонирует мысль о том, что задачи непременно должны быть разрешимы. Вам следует принять их близко к сердцу и разрываться на части, пока открыты ваши глаза. Потом эти проблемы исчезают, оседая в сознании.

В каком-то смысле быть писателем сейчас — одно дело и совсем другое — в Париже. Надо заметить, что сегодня писателю проще зарабатывать, его быстрее издают. Но какие издатели и какую литературу? Лучшие произведения не печатают. Для истинно творческих людей это не выход. Они всегда сталкиваются с трудностями, поскольку всегда опережают свое время. Они всегда будут мучиться, пока мы не создадим качественно другое общество, такое, в котором художника признают тем, кем он поистине является: духовным лидером и

целителем. Не думаю, что это случится в ближайшем будущем.

Мне говорят, что эту сторону жизни я узнал, пока бедствовал в Париже. Но я бы так не сказал. В конце концов, человек богемы — отнюдь не неудачник. Я сам выбрал, эту жизнь, а это совсем другое. В таком положении есть нечто романтическое.

Я влюблен в высказывание, которое когда-то вычитал, а сейчас снова встретил в книге **Алана Уоттса**. Это высказывание Гаутамы Будды и звучат оно так: **«Я не получил ни малейшего удовольствия, полностью осознавая происходящее, и по этой самой причине оно зовется полной, окончательной утратой иллюзий».**

Ритм моей жизни не изменился. Помню, в Париже просыпался поздно, но мне не кажется, что сейчас я достиг должного уровня. Теперь я полюбил полуночные часы. После окончания телевизионных передач и выступлений актеров-комиков я способен читать самые серьезные книги, требующие полного сосредоточения. Я бываю в ударе в полдень (именно в это время я и родился). Астрологи говорят, что часы вашего рождения — ваше лучшее время, и для меня много лет так оно и было. Помню это, поскольку около полудня работается с полной отдачей, как раз в это время жена звала меня, говоря, что готов завтрак. Было трудно остановиться.

Я и **кино**-, и **книгоман**, но и то, и другое действует на меня по-разному. Кино удовлетворяет во мне нечто такое, что неподвластно книгам. Прежде всего, фильм утоляет зрительный голод. Кроме того, думаю, одно из значительных различий между ними заключается в том, что фильм не поддерживает тебя так, как книга. Книга — это истинная пища и субстанция, вы ею живете и она вас питает. А фильм, если он хороший, это нечто такое, что доставляет вам несколько приятных минут, не более того. Безусловно, какие-то определенные эпизоды вы можете вспомнить, но он не вселяется в вас на несколько дней подряд (даже самый лучший фильм), тогда как от книги вы не можете избавиться. Вы вновь и вновь проживаете вместе с ней дни, недели, и она снова и снова возвращается к вам. Хорошая книга оставляет у вас неизгладимое впечатление. Фильмы в такой степени на меня не действуют. Что я заметил в отношении кино, так это то, что в подкорку глубоко врезаются определенные герои. Их можно не раз воскрешать в памяти. Что касается книги, то вы никогда не знаете, как же выглядел тот или иной персонаж. Вам приходится подключать воображение.

Кино — сильнодействующий вид искусства. Лично меня оно удовлетворяет больше, чем театр. Когда-то я был большим поклонником последнего. Сегодня же я вряд ли пойду в театр. Не

выношу посредственных спектаклей. Плохой фильм я порой могу высидеть, поскольку в нем развивается какое-то действие, точнее сказать, одновременно происходит много всего. Меня удерживает на месте не сюжет. А цвет и движение. Действие. Еще я узнаю типажи, очень близкие Мне. Одни привлекательны, другие относительны, но достопамятны. Наблюдаешь за живыми людьми и в некотором отношении они становятся реальнее, ближе тебе, чем герои книги. Я могу обратиться мыслью к фильмам, которые видел тридцать или сорок лет назад; и поныне помню конкретных персонажей, могу ясно воскресить их в памяти. Персонажей книг я никогда отчетливо себе не представлял. Они оставляют какое-то пятно в памяти, но всегда расплывчатое и неясное.

Мне кажется, что дни печатных изданий и чтения сочтены, их должно заменить что-то еще. Тем не менее, раз уж я писатель и слова так много значат для меня, трудно себе представить, что придет им на смену. Из книг получаешь нечто такое, чего не дает ни один фильм: ассоциации, вызванные словами, идеи, поддающиеся развитию, и т. д. Всего этого никогда не донесешь в фильме. Кино чересчур реально, чересчур конкретно. За что мы любим книги, так это за детали, фантазию, запутанность — за то, на что кино не хватает времени, фильм обречен быть точным. Мы жаждем своего рода неопределенности, некой непостижимой ауры. Кино имеет дело с чем-то реальным. На все иное оно может намекнуть, но, по моему мнению, не в достаточной степени. Но, замечу, мы вполне обошлись бы без большей части издаваемых ныне книг: они не имеют никакой значимости, ничего нам не дают. Само собой разумеется, то же можно сказать и о большинстве выпускаемых фильмов; и все-таки, если бы пришлось выбирать, я бы посоветовал: поди посмотри приличный фильм вместо того, чтобы тратить время на преобладающую часть современной литературы.

Трагедия кино состоит в том, что оно по большей части производное от литературы. Вот что уродует фильмы. По-моему, мы все же должным образом не развиваем средства и все возможности кинематографа. Мне кажется, он по-прежнему пребывает в зачаточном состоянии. Я бы предложил — отбросьте сюжет. Его не нужно. Соберите актеров, режиссера, оператора и дайте им общую идею того, что должно происходить, а затем начинайте снимать, импровизировать, выстраивать сюжет по ходу дела, *если сюжет так уж необходим*. Безусловно, без него вполне можно обойтись. Именно к этому я и клоню, фильм действует сильнее, если обретает полную независимость — когда подключается фантазия, мечты, видения и всевозможные бессвязные ассоциации. Не всегда все происходящее должно быть

объяснено. Допускаю, что это вопрос спорный, — необходим ли сюжет. Я ратую за минимальную форму и в литературе, и в кинематографии. Но я знаю, что форма — важный элемент в создании фильма. И все больше в этом убеждаюсь.

Совсем недавно я посмотрел «Сатирикон» Феллини. Два раза слушал интервью с ним. Он говорил золотые слова. Это слова мыслящего творца. Среднего, зрителя «Сатирикон» шокирует. Спрашивают: «Что он имеет в виду? Что хочет сказать? О чем идет речь?» Отвечаю: не спрашивайте меня. Знаю лишь, что наслаждался каждой минутою этого фильма. Мне абсолютно безразлично, что все это означает. То, что я видел, изумительно. Все удивительно — почему бы нам просто это не смотреть: серию замечательных, интересных, захватывающих самих по себе кадров? Конечно же, в фильме всего намного больше. В принципе не вредно, чтобы был великолепный сценарий; но, может быть, требовать этого — уже слишком? Сколько вообще на свете великих рассказов, сколько великих романов, сколько великих полотен? А сколько, на сегодняшний день, великих фильмов?

Сейчас мы находимся на стадии зрелости. Если мы искренни с самими собой, то должны согласиться, что, придя в музей, находим очень немного замечательных картин, которые по-прежнему нас захватывают. Девяносто процентов из них — ерунда, не больше того. Музей, этот благочестивый заповедник великих произведений искусства, возможно, был важен в прошлом, но не сегодня. Я спрашиваю — как эти картины действуют на вас сейчас? Имеете ли вы какое-нибудь отношение к ним сегодня? Это как со старыми фильмами: некоторые из них в свое время считались классикой. Покажите их сегодня, и вам придется сказать: каким же идиотом я когда-то был, что наслаждался такого рода фильмом?

Сочинительство

> *Сначала я сопротивлялся. Утверждал. что собираюсь писать правду, и да поможет мне Бог. И я считал, что пишу правду. Я понял, что не в состоянии это сделать. Никому не дано запечатлеть абсолютную правду.*

Я принадлежу к тем писателям, которые могут описывать события лишь спустя много лет. Большая часть их выплеснулась из меня на дистанции в двадцать лет. Может быть, одна-две книги были созданы сразу — такие, как «Тропик Рака» и «Маруссийский колосс». Но чаще всего я возвращаюсь назад. Однажды я рассказал вам, что за ночь, приблизительно за 12–14 часов, в один присест исписал целый блокнот. Он послужил основой всех моих автобиографических книг. Тем не менее, когда я сажусь писать (я говорю сейчас о большой работе), то лишь заглядываю в свои заметки.

Что касается меня, то вопрос главным образом в том, чтобы настроиться или включиться, быть в «форме» и душой, и телом. Когда ты что-то пишешь, слова должны литься на бумагу, как вода из водопроводного крана. Чем дольше я вынашиваю в себе материал, тем сочнее он становится. Это результат внутренней компрессии. С чего начать? Как начать? Большинство людей впадают в прострацию, лишь посмотрев на чистый лист бумаги. Это случается со всеми. Это то же самое, что смотреть на пустой холст. Я нашел «секрет», открытый сюрреалистами; он заключался в том, чтобы просто писать обо всем, что взбредет в голову — иными словами, громоздя чепуху без точек, без всякой последовательности, пока не начнет вырисовываться то, что хочешь сказать. Затем весь подготовительный хлам ликвидируешь. Я пишу до тех пор, пока не устану или не исчерпаю тему. Но никогда не позволяю своему мозгу дойти до точки истощения. Однажды я получил хороший урок. Как-то раз написал 45 страниц и свалился без сил. Так что всегда стараюсь сохранить бодрость. Как с бассейном: его никогда не осушаешь — слишком долго его опять наполнять. Думаю, это сказал Хемингуэй, но он вымучивал свои рукописи и, по-моему, не слишком в этом преуспел. Я, так сказать, избавляюсь от излишка и на следующий день продолжаю работать над тем, что осталось. Вот, в общих чертах, мой метод работы. Безусловно, очень часто я

отвлекаюсь от темы. Кажется, собираюсь писать о чем-то конкретном, и вдруг меня задевает за живое другая тема, и я переключаюсь на нее. Но главное — не нарушить плавного течения мысли. Сохранить плавность повествования — это главное, что меня заботит.

Я не разрабатываю тему, как другие писатели. Безусловно, мой подход значительно отличается от того, как пишет киносценарист. Ему приходится много всего придумывать, чтобы получить желаемый результат. Меня не заботит конечный результат. Я пишу — вот что важно. Дело не в том, что я написал, а в самом процессе творчества. Поскольку моя жизнь состоит в том, чтобы писать. Самое главное — процесс. Что я пишу, в конечном счете не столь важно. Часто это глупо, нелепо, противоречиво — последнее вообще меня не волнует. Насладился ли я этим? Выложил ли то, что во мне накопилось? Вот что самое главное. И, конечно, я не знаю, что мною движет. Это действительно очень важно. Разница между мною и другими писателями состоит в том, что они всячески стараются исходить из того, что оформилось у них в голове. Я же всячески стараюсь извлечь на поверхность то, что скопилось ниже, в области солнечного сплетения, в подсознании.

У моего друга, живущего в Париже, Альфреда Перле, есть свой уникальный метод. Он кладет на письменный стол часы и говорит себе: «Я собираюсь писать сорок пять минут». Прошли сорок пять минут, и он перестает писать, даже если остановился на середине предложения. На сегодня он закончил. Я тоже так делал, прекращал писать, остановившись на середине абзаца. Сегодня это раздражало бы многих писателей, они подумали бы: «Как я завтра вернусь обратно к этой мысли?» Меня это никогда не беспокоит, поскольку я считаю, что потерять нить повествования невозможно. Вопрос лишь в том, чтобы восстановить ход мыслей. Возможно, вы и не начнете с данного абзаца, возможно, начнете с чего-то еще, но постепенно, коль скоро эта мысль сидит в вашем подсознании, она в процессе работы заявит о себе. Если не сегодня, значит завтра. А не завтра, так посреди ночи. Меня никогда не волнует, что могу о чем-то забыть. Ничто никогда не забывается, а мысли — в наименьшей степени.

Пруст доказал, что, восстанавливая в памяти какое-то событие, представляешь его себе даже более живо, чем это происходило в действительности. Думаю, это очень точно. Не знаю, почему это так: наверное, дело в том, что, когда пишешь, глубоко чувствуешь, отдаешь себе во всем полный отчет, ты очень насторожен и собран. Твои чувства и ощущения обострены.

Конечно, можно слегка и приврать. Все-таки, восстанавливая в памяти какое-то событие, тоже что-то додумываешь. Это ваше дело, и смысл не столько в том, чтобы в точности передать происходящее, сколько в том, чтобы передавать дух, ауру этого события. Я бы сказал, что почти невозможно абсолютно адекватно воспроизвести факт, но, безусловно, можно постараться его реконструировать.

Восстанавливая в памяти свои переживания, я получаю физическое удовольствие — может быть, даже усиливающееся.

Пережитое кажется преувеличенным. Продолжается двойная игра. Сначала совершаешь нечто такое, в чем, так сказать, не отдаешь себе отчета. Не смотришь на себя в зеркало. Потом, описывая, словно смотришься в зеркало и проделываешь все это снова. Склоняешься над самим собой. Когда пишешь, изгибаешься, наблюдая за собой в действии. И знаешь, что в этот момент играешь. Существует разница между сознательным и бессознательным поступком. Я уже говорил, что по-моему, воскрешая в памяти пережитое, испытываешь усиливающееся физическое удовольствие. Это происходит от того, что подлинная ситуация, прожитая тобой, еще не облекалась в слова. Ты не говорил себе: «О, какой удивительный туман, я ощущаю его прикосновение на своей щеке». Ты все это *чувствовал*, но не выражал словами. Теперь, когда это *произносишь*, привходит что-то еще.

Твое сегодняшнее ощущение (возможно, связанное с ощущением физическим) окутано словами и их толкованием. Самым что ни на есть определенным. Слова значительно отличаются от других средств выражения. Я испытываю глубокое благоговение к слову, потому что в нем кроется то, что я называю мистикой. Сотворение слова — факт абсолютно непостижимый. Мы ничего не знаем о происхождении разговорной речи. Человек никогда не мог описать, как случилось, что он научился говорить. Вам стараются внушить, что сначала он рычал как зверь, то да сё, но я этому не верю. Я считаю, за этим кроется нечто гораздо более непостижимое и мистическое. Таким образом, когда прибегаешь к словам (если подсознательно ты — художник и личность творческая), все время отдаешь себе в этом полный отчет. Кстати, именно слова могут подвести вас к поступкам, подвести к мыслям, а не наоборот.

Ну, разумеется, все это: ощущение и физическое чувство — лежат в сфере изобразительных возможностей, а для оттенков существуют имена прилагательные и наречия. Вот ведь какое странное дело — один писатель будет подробно описывать все, о чем бы он ни рассказывал, и это вас не проймет. Вам это

надоедает, вы зеваете. Другой использует, допустим, метафоры. Он не вдается в подробности, не анализирует. Это опять же ведет к магии слов, их употребления. Дело не в самих словах, а в том, как они сопоставляются; в этом-то и заключается писательское мастерство. В том, что означают сопоставленные слова, и *как* они сопоставляются, что они *вызывают*, а не что они констатируют. Это целый арсенал изобразительных средств, составляющих писательское искусство.

Испытать чувство удовлетворения писателю еще труднее, чем читателю, и опять же — это дело сугубо индивидуальное. Уверен, что некоторые писатели вымучивают свои произведения. Другие (могу отнести и себя к этой категории) получают удовольствие от самого процесса работы. Я им наслаждаюсь, поскольку слова из меня струятся. Я говорю: «Если бы только имярек увидел меня, увидел бы этот материал выходящим из пишущей машинки, ему бы это понравилось». Но это очень индивидуально. Некоторые пишут строчку за строчкой, останавливаются, стирают текст, вынимают и рвут страницу и т. д. Я работаю иначе. Просто продолжаю писать, и все. Позже, заканчивая работу, я, так сказать, даю ей отстояться в холодильнике. Не заглядываю в нее месяц-два, чем дольше, тем лучше. Потом нахожу удовольствие в другом. Это радует меня ничуть не меньше, чем процесс работы. Это то, что я называю «занести топор над твоим творением». Я имею в виду: взять и искрошить его. Сейчас вы видите его с совсем новой, выгодной позиции. У вас на него другие виды. И вы обретаете удовольствие в изничтожении подчас даже наиболее захватывающих эпизодов, поскольку они вас не устраивают: на ваш критический слух они звучат фальшиво. Они могут быть написаны замечательно, но, как критик, вы воспринимаете их иначе. Я поистине наслаждаюсь этой кровавой стороной игры. Можете этому не поверить, но это правда.

Говорят, Хемингуэй корректировал сделанное на следующий день. А Томас Манн — даже в тот же день. Я слышал, что он писал страницу в день и тогда же вносил правку. Таким образом он наладил серийное производство. Каждый день непременно выдавал страницу. Господи, за 365 дней у тебя выйдет целый талмуд. Да это же непосильный труд! Прямо-таки невозможный! И опять же: кто знает, какой механизм движет каждым человеком, ритмом, в котором он работает? Каждый человек уникален.

Редакторов я предаю анафеме. Ни одному редактору никогда не разрешаю каким-либо образом редактировать свои книги. (Большинство редакторов — неудавшиеся писатели.) Не желаю ни сходиться с ними во мнениях, ни выслушивать их. Не хочу ничего, кроме того, что сказал *я*, хорошо это или плохо. Не хочу

никаких усовершенствований, предпринятых кем-то еще. Например, я понял, что сегодня редактору может понравиться произведение молодого писателя, но он настаивает на внесении изменений. Таким образом, рукопись попадает к переписчику, вносящему правку. Когда книга издана, кого считать ее автором?

Я столкнулся с такой ситуацией только в Америке. В Европе ни один редактор никогда не осмелится взять на себя такое и даже не заикнется на эту тему. Но здесь я то и дело на это натыкаюсь. Самые большие привереды — редакторы журналов. Они спрашивают: «Вам не кажется, что этот абзац лучше поставить туда, а не сюда?». А я отвечаю: «Нет, не кажется. Оставляйте как есть или отдайте назад». Европейских авторов подобными глупостями не беспокоят. Здесь же мы собираемся довести все до совершенства, но уровень совершенства приравнивается к интересам сбыта. Здесь стремятся угодить среднему читателю. Считают, что знают, что нужно людям. При этом не будучи способны отличить злаки от плевелов.

Некоторые читатели и критики утверждают, что между мною как писателем и человеком существует противоречие. Но как человека они ведь никогда меня не знали! Думаю, в своих книгах я охарактеризовал себя довольно подробно. В них — мое чувственное «я», мое философское «я», религиозное «я», эстетическое «я». Мне нравится считать себя разносторонне развитым человеком, и, если кто-то не подмечает этого, беседуя со мною, виной тому, наверное, случай. Когда я вспоминаю дни, проведенные мною в Париже в компании закадычных друзей, там мы разговаривали абсолютно другим языком. Разговаривать я могу по-разному. Могу говорить языком улицы, а, если хотите, могу обернуться медоточивым златоустом. Ко Христову дню, говорят, все сгодится.

Когда я пишу от руки, я более искренен. Это потому, что я порываю со своим «литературным» «я». В момент, когда я сажусь за пишущую машинку, мои пальцы уже задействуют меня, трансформируют, переводят в ранг писателя. Когда я беру ручку, это чуть более обременительно, не столь удобно, не столь естественно, ведь это совсем другое рабочее средство. Приведу пример. Пикассо часто говорил о себе, что, закончив писать картину, если он находил в ней нечто милое и очаровательное, он все замазывал, поскольку это выражало уступчивость его натуры. А он стремился к чему-то такому, кто исходит от его силы воли, с чем он борется, что доставляет не просто удовольствие. Естественно, на машинке я пишу более литературно. Речь становится многословнее и глаже. Тогда как написанное от руки рождается в борьбе, и кажется, что материал исходит из другого

источника.

Совсем другое дело — беседа. С некоторыми людьми это поток слов, водопад. С другими я мямлю или помалкиваю. Все зависит от того, насколько люди тебя затрагивают и в каких областях. Зависит от моего настроения, от того, насколько я расслаблен, чувствую ли себя в хорошей форме и расположен ли к разговору, могу ли открыться и высказаться. Это подчинено множеству обстоятельств. Знаю, что до некоторой степени я — актер и что к тому же — все мы очень неискренни (в том смысле, что все мы играем). Мы умеем быть обаятельными (или нам так кажется), дабы произвести впечатление, и все эти обстоятельства влияют на нашу речь. Когда разговариваешь с девушкой, на которую хочешь произвести впечатление, в которую страстно влюблен, или беседуешь с другой девушкой, к которой безразличен, все меняется, не так ли? Так же и с другими людьми. С кем-то хочешь сблизиться, либо хочешь, чтобы он раскрылся, хочешь произвести на него впечатление. Чувствуешь либо зависимость, либо превосходство, бывает по-разному. Когда мы общаемся друг с другом, в действие вступает множество различных факторов.

Беседуя с кем-нибудь лицом к лицу, я стремлюсь говорить серьезно и искренне и вдруг убеждаюсь, что лгу или извращаю мысль, желая удовлетворить сиюминутную прихоть. Мне кажется, я многое понимаю и узнаю о себе. А чего тогда стыдиться? Абсолютно честных людей нет. Все неоднозначно, «обтекаемо», не делится просто на черное и белое.

Если, описывая конкретный случай, я пишу на машинке, а потом о том же пишу кому-то в письме или рассказываю устно, в каждом случае возникают разные версии. Что-то опускаешь или выделяешь выборочно. Сейчас, сидя за пишущей машинкой, я чувствую, что работаю с полной отдачей. В разговоре могу до конца выразить свои чувства, но с большей долей искренности.

Так или иначе, сознательно или бессознательно, когда я пишу письмо от руки, то, вероятно, приближаюсь к разговору. Поскольку действительно хочу открыть свою душу. Но, стремясь к откровенности, естественно, думаешь о том, как что-то выразить, поведать другому, обсудить с собеседником.

Когда пишешь, получается что-то большее, что-то особенное. Здесь также налицо элемент игры. Обычно осознаешь, чем руководствуешься. Рассказывают про писателей, впадающих от работы в экстаз. Разумеется, через это проходил и я. Слова брались из ниоткуда, из пространства. Я был «жертвой» этих слов. Они лились из меня как из шланга, а я просто переносил их на бумагу. Это были восхитительные моменты и одновременно

ужасные, поскольку не можешь закрыть кран этого проклятого шланга. Я часто умолял: «Прекратите! Прекратите! Оставьте меня в покое!» Но такое случается не каждый день. И слава Богу, иначе мы бы умерли от истощения.

По поводу актерских качеств, присущих писателю… Он накладывает грим на вещи и одновременно смотрит в мир. Артистизм писателя не нацелен определенно на публику, но он понимает, что она ему внемлет. Совсем как виртуозу-исполнителю на сцене. Я думаю, в этом действительно есть что-то такое… С другой стороны, когда пишешь письмо другу, пытаешься быть искренним. Когда с кем-то беседуешь, здесь всего понемногу. Это снова игра. В процессе разговора могут возникнуть определенные мысли, которые никогда бы меня не посетили, сиди я за машинкой или сочиняй письмо.

Не думаю, что писатель чувствует себя прекрасно, заново переживая в памяти прошлое. Мне кажется, он радуется тому, что может перенести это на бумагу. Именно способность воссоздать прошлое, а не воспоминания о нем делают тебя счастливым. Думаю, воспоминания вторичны. Во всяком случае, для меня. Меня радует процесс достижения. По крайней мере, так мне это видится. Если вы думаете, что, наверное, я хочу, чтобы мне так казалось, то с моей стороны это бессознательное. Не сомневайтесь; и это вызывает мурашки по телу.

Сначала я сопротивлялся. Утверждал, что собираюсь писать правду, и да поможет мне Бог. И считал, что пишу правду. И понял, что не могу. Никто не способен запечатлеть абсолютную правду. Это невозможно. Этому воспрепятствует ваше «я». Мне кажется, правда — это нечто такое, что проскальзывает сквозь пальцы. Ее не можешь ухватить. Может быть, ты зацепишь ее в тишине, когда бываешь наедине с самим собой, моментами, и к тому же очень редкими. Думаю, мы сами себя обманываем. Все мы. Мы никогда не живем лицом к лицу с реальным представлением о себе.

Оглядываясь на самого себя, я не вижу одну личность. Я вижу много личностей. Порой обнаруживаю в себе определенную личность, которая меня удивляет. Мы не всегда представляем собой единую личность; не подвергаемся этой удивительной эволюции по возрастающей. Это зигзагообразный процесс, вверх и вниз — нет такого замечательного образца поступательного движения, которое можно было бы описать.

Когда я пишу о чем-то забавном, то не останавливаюсь и не задумываюсь над тем, что описываю нечто смешное. Я ничего не обдумываю заранее. Просто записываю свои мысли, а если оказывается смешно или грустно, не контролирую этого. Я не

задумываюсь над результатами, правда не всегда. А, говоря о результате, порой пускаюсь в описания, могу остановиться и задуматься над эффектом. Могу сказать: «Вставить это, опустить то, выбрать это». Поскольку так больше впечатляет. Но не тогда, когда пишу о своих чувствах. Они выступают такими, каковыми являются. Если это смешно, значит смешно, если — нет, значит — нет. Часто, пока я пишу, я смеюсь. Смеюсь. Во всю мощь.

В молодости один день я ликовал, другой — пребывал в депрессии. Позже, в зрелом возрасте, жил более уравновешенно. Мне всегда нравилось слово «приятие». Для меня это очень ёмкое слово. Воспринимай жизнь такой, как она есть, наблюдай за ней и принимай ее за то, что она собой представляет, не предавайся иллюзиям и не заблуждайся на ее счет. Когда я избавился от своего «идеализма», осознал, что это — серьезный шаг на пути к выздоровлению. В «Гаргантюа и Пантагрюэле» Рабле на вратах Телемской обители было начертано: «Fay ce que vouldras!» — другими словами: «Делай что хочешь!» Святой Августин выразил это иначе. Он сказал: «Люби Бога и делай, что хочешь». Как это прекрасно! Это означает, что важна душа, Святой Дух, — не нравственность, но этика. Тот, у кого в теле здоровый дух, не совершит дурного поступка. Тогда, поступая как хочется, человек может доставить лишь счастье — себе и своему ближнему.

Думаю, о сексуальных отношениях я писал потому, что они составляли столь значительную часть моей жизни. Секс всегда был в ней чем-то доминирующим. Честно говоря, о своих истинных возлюбленных я почти не писал. О некоторых из них — тех, кого я по-настоящему любил, — вообще не упоминал в своих книгах. Я лишь старался охватить определенный период времени — в семь-восемь лет — с одной женщиной Джун, а в книгах — Моной. А потом — импульсивно маневрировал во всех направлениях. Но главная моя цель заключалась в том, чтобы рассказать о моей жизни с ней.

Как ни странно, литература порнографического характера меня не стимулирует. Она вообще меня не очень впечатляет. Фактически, я бы сказал, она мне неинтересна. Правда, я прочитал не слишком много известных в этой области классиков: не знаю почему; меня на них не тянуло. Я предпочитаю роль пассивного *наблюдателя*. Картины, фотографии мне крайне интересны. Они меня возбуждают. Но описание секса в книгах — нет, не настолько сильно. Разве что пером великого писателя.

Недавно мы беседовали с несколькими молодыми японками. Они сказали, что им омерзительно то, что называют «голубыми» фильмами. Жуткая гадость. Я не согласился. Хочу сказать, что для любого человека противоестественно отводить глаза в

сторону, какими бы отвратительными ни были эти фильмы. Есть половой член и есть влагалище, они входят один в другое, и это возбуждает! Отвернуться не можешь. Не можешь, если сам являешься обладателем полового члена или влагалища.

Я читал великих писателей — таких, как Казанова, Рабле, Боккаччо, Петроний Арбитр, автор «Сатирикона», всеми ими наслаждался в молодости, но не думаю, что сегодня моя реакция была бы такой же. Но *тогда*, конечно, они возбуждали у меня энтузиазм.

Недавно я прочел книгу «Моя тайная жизнь». Ее порекомендовал мне добрых двадцать лет назад наш, тогда непризнанный, критик. Он сказал: «Из всех прочитанных мною книг этого жанра эта — самая значительная». Можно быть уверенным, что автор этой книги действительно обожал секс. Он любил женщин исключительно в сексуальном плане. Каких только женщин, кажется, у него не было. Право же на это были направлены все его помыслы. Он мог свободно распоряжаться деньгами, временем, и знаете, читать его — одно удовольствие, поскольку это чистый секс и ничего больше. Никаких литературных изысков. Совсем никаких. Просто бесконечный перечень половых актов. Поначалу мне показалось это интересным, но, прочитав две-три сотни страниц, я заскучал.

Несмотря на то, что говорят критики, я никогда не писал в таком ключе. Это точно. Я нередко преувеличивал или искажал, ибо я другого типа человек. Его литературный метод не устроил бы меня. Мне необходимо создавать, развивать, выдумывать. Для меня это — основа всего творчества. В конце концов, вопрос полов — это гораздо больше, чем сексуальные отношения. Это — сила, подобная стихии. Она точно так же таинственна и непостижима, как Бог или природа космоса.

Обо мне говорят, что я снабжаю текст сочными эпизодами просто, чтобы возбудить интерес читателя. Это неправда. Знатоки утверждают: «Он хороший писатель, но почему он писал подобные вещи? Он делал это ради денег». Я имею в виду те ранние книги, где я подробно излагал события своей юности. Но моя ежедневная жизнь была полна событий предосудительного или сомнительного характера. Она была ими перенасыщена, и, тем не менее, я полагаю, моя жизнь не напоминала жизнь большинства мужчин. Секс для меня не являлся каждодневным занятием. Придавая значение женскому естеству, я всегда был предан самой женщине. Самым интересным для меня была женщина. Разумеется, важно было и естество, но, за редким исключением, все упиралось не в него. Когда мужчины относятся к женщине только как к самке или, точнее, ни к чему, кроме

самки, это тоже существенно. Но меня всегда больше интересовала женщина, вся женщина. Более того, меня всегда интересовало, что у нее на душе. О чем она думает? Что у нее за мысли, над которыми я бьюсь? Пойди-ка разберись! Вникни! Поскольку отчасти во мне говорит любопытство детектива. Думаю, не стань я писателем, я мог бы сделать блестящую карьеру сыщика.

Но, возвращаясь к этим предосудительным пассажам моих книг, я добавил бы, что отчасти во мне бессознательно срабатывал артистизм. Дело не только в этом; могу привести вам другое объяснение этих эпизодов. Одно обстоятельство ведет у меня к другому и очень часто — к чему-то крайне противоположному. Мои мысли не выстраиваются в прямую линию. Я разбиваю то, что думаю.

Раздумываю во многих различных направлениях. Когда мне в голову приходит какая-то мысль, я сразу прокручиваю ее во многих направлениях и не знаю, с чем согласиться. Вот почему в моих книгах часто творится такой хаос. Я взрываюсь, вот в чем дело.

Другое обстоятельство. Писателю необходимо научиться вовремя ставить последнюю точку, когда пишешь слово «конец». Я мог продолжать бесконечно. Иногда просто резко обрывая повествование.

Вести записные книжки я начал еще во времена своей юности, в Париже. По-моему, в те дни я всегда носил одну с собой. Я напоминал въедливого репортера. Так добросовестно все записывал, что вы бы решили, что я сотрудничаю в большой, респектабельной газете. Я всё принимал к сведению. Хранил ресторанные меню, театральные программки, все. Уйму таких вещей вклеивал в записные книжки, чего там только нет. Сейчас я не очень часто пользуюсь своими записями, но получаю удовольствие, пополняя ими свои блокноты. Они меня воодушевляют. Часто сижу и переписываю свои записные книжки, а потом полностью их игнорирую. Но это для меня некий старт. И то же самое — со словами. Я влюбляюсь в определенные слова, а потом записываю их на большой лист оберточной бумаги.

И только узнав о том, что мне предстоит уехать из Парижа в Грецию и что, возможно, я никогда туда не вернусь, я решил переплести свои записные книжки. У меня их гораздо больше, чем хранится в библиотеке. Некоторые из них я раздарил. Написал семь книг от руки, целых семь, и раздарил их друзьям. Единственной, которую когда-либо напечатали, была небольшая книжка о Хансе Райхле — «Порядок и хаос в понимании Ханса Райхля». Было бы замечательно когда-нибудь увидеть изданными

и остальные книги, хотя я и не намеревался их обнародовать.

Все книги, написанные мною для друзей, я писал от руки. Обычно я все печатаю на машинке, за исключением писем. Когда пишу от руки, у меня создается впечатление, что я более искренен, не столь литературен. За пишущей машинкой у меня все получается слишком гладко. Это напоминает проигрывание фортепьянных гамм. Моими мыслями каким-то образом управляют пальцы.

Я надеюсь вести более размеренную жизнь. Чего бы мне хотелось, так это жить спокойно, мирно и работать. Мечтаю, чтобы обо мне забыли, хочу больше находиться в тишине. У меня нет потребности в рекламе. Она меня травмирует.

Биг Сур

Мужчины не представляют себе, до какой степени женщина может оставаться равнодушной к этой так называемой физической привлекательности, как они порой бывают преданы домашним, безобразным, стареющим мужчинам. Господи! Иногда мне кажется, что эти домашние ублюдки добиваются расположения самых красивых женщин.

Кажется, за всю жизнь я никогда не выбирал себе места для жилья. Меня просто заносило туда волей судеб. Не выбирал я и Биг Сур, штат Калифорния, хотя это единственное место в Америке, которое я мог назвать своим домом.

В июне 1939 года я уехал из Франции в Грецию. Когда я был в Греции, началась война. Американский консул приказал мне вернуться в Нью-Йорк. Именно там я написал книгу «Маруссийский колосс». Я вложил в нее всю свою душу. В Греции я прожил приблизительно восемь-десять месяцев и убедился, что это подлинный рай. Я всегда считал, что только Франция — моя страна. Пытался даже принять французское гражданство. В то время это стоило определенных денег, а мне никогда не удавалось наскрести необходимую сумму. Если бы удалось, я, безусловно, стал бы гражданином Франции.

Во всяком случае, попав в Грецию, я открыл для себя абсолютно новый мир. Главным образом то был мир природы и древних святынь. Никогда прежде мне не доводилось бывать в таких местах, где бы я ощущал, что это святыня. Настолько ошеломляющим было впечатление. С первого взгляда понимаешь, что здесь происходили события беспредельной значимости. А потом — этот свет, невероятный свет греческого неба! Никогда и нигде не видел я ничего подобного.

Я приехал в Грецию по приглашению Лоренса Даррелла. Он побывал в Париже вскоре после прочтения «Тропика Рака». Написал мне дружеское письмо и между нами завязалась переписка. Потом, где-то через год, он неожиданно приезжает с молодой женой. Он уже прожил какое-то время в Греции. У него был дом на острове Корфу, и он принялся убеждать меня поехать с ним. Однако туда я выбрался лишь через несколько лет, и то

перед войной. Я и не подозревал, что она начнется. Думал устроить себе годовой отпуск, а потом вернуться во Францию. Если бы не война, я остался бы в Греции навсегда. Она меня устраивала на все сто…

Итак, вспыхнула война, и американский консул в Афинах — кстати, довольно известный писатель, — взял мой паспорт, проставил в нем жирный крест и сказал, что я должен вернуться туда, откуда приехал. Естественно, мне не хотелось возвращаться в Америку, особенно в Нью-Йорк. Я спросил его, могу ли я уехать в Южную Америку или Китай, куда угодно, только не в Америку… «Нет!». Пришлось мне вернуться в Нью-Йорк. Это чуть не разбило мне сердце. Я не хотел этого делать, я покончил с Америкой. Но как удивительно складывается судьба! Спустя два года я оказался в Биг Суре — другом величественном месте, в некотором отношении выгодно отличавшемся от Греции, моей Греции. Я прожил там, в Биг Суре, семнадцать лет. А с другой стороны, что это было за место? Горы, небо, море — лишь группка людей. Удивительное ощущение уединенности.

Какое-то время я жил холостяком.

Едва обосновавшись в Биг Суре, я получил известие, что мать при смерти, так что я поспешил в Нью-Йорк, но мать не умерла, тогда не умерла.

Пока я был в Нью-Йорке, я познакомился с девушкой, выпускницей колледжа «Брин-Мор»; она намеревалась поступать в Йельский университет — изучать историю или, скорее, философию истории. Ее звали Джанина Марта Лепская. Она стала матерью моих детей. Тони и Вэл. Но когда я с ней встретился, ей было двадцать. Я увез ее с собой после того, как мы поженились в ратуше Денвера.

В Биг Суре я время от времени получал гонорары, но очень-очень скудные. Жил весьма скромно, тратил мало. У нас был свой огород, моллюсков и рыбу ловили в море. Друзья привозили нам кое-какие продукты. Мы часто делили их с соседями. К тому же я умел обходиться немногим. Не помню, долго ли мы так просуществовали, но помню, что мой друг, Эмиль Уайт, приехавший на месяц позже меня, жил приблизительно на 10 долларов в неделю. Эта сумма включала все — ренту, еду, сигареты и вино. Представляете себе: 10 долларов в неделю! Времена меняются!

Сначала я жил в местечке, известном сейчас как Нипент, тогда это была лишь деревянная хибара. Однажды меня выселил из нее мой друг со словами: «Иди туда. Ты должен увидеть Биг Сур, и Линда Сарджент, вероятно, пригласит тебя погостить». И она пригласила. Она была сердечной, замечательной женщиной,

эта Линда Сарджент.

Я писал и рисовал, а она готовила еду — в печке! Я прогостил у нее два месяца, а то и дольше. Потом она забеспокоилась, что я могу остаться под ее крылышком навсегда! У меня не было ни гроша за душой. Я был буквально нищий. Она помогла мне найти жилье, хижину, принадлежащую тогдашнему мэру Кармела Кейту Эвансу. Он предложил мне снять хижину за 10 долларов в месяц. Если мне нечем платить, по его словам, я могу жить в ней бесплатно. Год я прожил в его хибаре на Партингтон-ридж.

Как раз в то время я уехал в Нью-Йорк повидать мать и вернулся назад с женой. Приблизительно через год родилась моя дочь, Валентина. Затем вернулся с войны мэр, и мне пришлось убраться из его хижины. Мы переехали в лачугу на Андерсон-Крик, прямо на скале. Большак, проходящий через Биг Сур, строила колония заключенных. Мы заняли одну из их лачуг за 7 долларов в месяц. Там мы провели второй год совместной жизни.

Тогда я встретил удивительную женщину Джин Уортон, о которой писал в книге «Биг Сур и апельсины Иеронима Босха». Она нас осчастливила. Она владела домом, который сейчас принадлежит мне. Однажды она сказала: «Знаете, этот дом на самом деле подходит вам больше. Почему бы вам его не купить?» Я спросил: «На что? Ведь у меня нет денег». Она ответила: «Если вы хотите купить этот дом, я вам его продам. Выплачивать можете по мере того, как появятся деньги. Меня это не беспокоит». Я согласился и через два месяца неожиданно получил первый крупный чек из Франции. Сразу же выплатил полную сумму и добавил 1000 долларов сверх того.

Двое детей стали для меня счастьем. Они родились не дома — мы жили без удобств. В Биг Суре не было врача, а поблизости — ни одного телефона. С момента их рождения я стал очень счастливым человеком.

Когда мои дети были малышами, я часто вставал ночью их покормить. Более того, даже менял им пеленки. В те времена у меня не было машины; я запихивал грязные пеленки в мешок, большой бельевой мешок, и шел за шесть миль к горячим источникам (теперь они в Эсалене), стирал их в горячем ключе, потом тащил домой! Шесть миль! Это *единственный* факт, запомнившийся мне, когда дети пребывали в младенческом возрасте.

Какое-то время, после ухода жены, я жил с детьми один. Для мужчины это самая тяжелая задача — ухаживать за малышами в возрасте от трех до пяти лет, полными кипучей энергии, и сидеть с ними в четырех стенах, особенно во время дождя. Зимой, когда шли дожди, мы жили как на необитаемом острове. Я их кормил,

переодевал, мыл, рассказывал сказки. Я ничего не писал. Не мог. Каждый день к полудню валился с ног от усталости! Предлагал: «Давайте вздремнем». Мы укладывались в постель, все втроем, а потом они начинали ползать, визжать, бороться друг с другом. В конечном счете я вынужден был попросить жену забрать детей к себе. Я их настолько любил, что не мог справиться с ситуацией. Это было нечто такое, чего я никогда не забуду. Думаю, это испытание усилило мое уважение к женщинам. Я понял, какую огромную работу выполняют женщины, замужние женщины, готовя еду, стирая, убираясь, ухаживая за детьми и все такое. Это не дано понять ни одному мужчине, да он с этим и не справится, даже если сам привык к тяжелому труду.

Дети были довольно близки друг к другу по возрасту, с разницей в два с половиной года. Они все время дрались, как заклятые враги. Сегодня они, конечно, закадычные друзья.

Когда Вэл начала ходить, примерно в трехлетнем возрасте, я каждый день брал ее в лес и мы долго гуляли вдоль узкого ручья. Я обращал ее внимание на птиц, деревья, листья, скалы, рассказывал сказки. Потом сажал ее себе на закорки. Никогда не забуду, как мы выучили с ней первую песенку. Это была «Янки-Дудль». Какое удовольствие гулять и насвистывать с этой крошкой на закорках. Всякий, у кого нет детей, не знает, что такое жизнь. Безусловно, они были для меня огромным счастьем.

И в то же время у меня начались ужасные разногласия с женой. Мы оказались в высшей степени невезучей парой. В крошечной студии, где я работал, было огромное окно. Дети часто приходили и стучали в окно. «Ты можешь выйти? Можешь выйти и поиграть с нами?» Жена запрещала им отрывать меня от работы. Она их наказывала, если они это делали, но я приветствовал эти перерывы. «Разумеется, чем вы хотите заняться? Поиграть в мяч? Погулять?» — спрашивал я. Думаю, это были самые счастливые дни в моей жизни. Самый интересный для меня возраст у детей с пяти до восьми лет. Даже когда они были поменьше, это все равно было забавно. Только не младенцами. Они должны научиться ходить и хоть что-то говорить. Как-то вечером, за ужином, я начал рассказывать сказку, у которой не было конца. Каждую ночь они говорили: «Расскажи, что было дальше». И я тут же, не думая, продолжал свой рассказ. Фантастика. Они были очарованы, слушая этот ежедневный сериал. Я совсем не думал. У меня не было на это времени. Сказка просто лилась из меня. Я придумал двух неправдоподобных героев, связал их вместе, заставил их совершать сверхъестественные, несусветные поступки. Самое главное — действовать! Интересно, что сам я никогда не знал,

что будет дальше.

А дальше — дальше последовал развод. Как и принято, миновали семь лет, и брак распался. Лепская от меня ушла.

Через несколько месяцев в мою жизнь вошла другая женщина. Свалилась как гром из ясного неба. Она жила в Лос-Анджелесе и была моей горячей поклонницей. Мы начали переписываться. Она все знала обо мне, была в курсе всего мною написанного. Мы никогда с нею не виделись — до того дня, как она приехала и сказала: «А вот и я». Это случилось в день первоапрельских шуток. Никогда не забуду! «Если хочешь, я останусь здесь». Это была Ив.

Мы поженились не сразу. Прожили вместе семь или восемь месяцев, потом провели медовый месяц в Париже и поженились, вернувшись в Биг Сур. Должно быть, ей было самое большее лет 27–28, а мне — около 60. Меня никогда не беспокоила разница в возрасте. И не беспокоит. Не думаю, что можно делать какие-либо определенные выводы, исходя из разницы в возрасте между мужем и женой. Все зависит от человека. Для творческой натуры возраст не имеет большого значения. Посмотрите на Пабло Казальса или Пикассо. С женщиной моложе себя ты выступаешь не только в роли отца, но также в роли наставника и любовника. Что касается заката сексуальных отношений, то это опять же сугубо индивидуально. Я знаю такие браки, где секс практически отсутствует, но людей связывает родство душ. Разумеется, если мужчина старше, то он всегда — на милости молодого парня, красивого и часто безмозглого. Тот может просто взять и отбить женщину, отбить даже у самого необыкновенного мужчины.

Иногда женщина продолжает состоять в счастливом браке с мужчиной намного старше себя, возможно, заводит несколько романов, но и не думает разводиться. Мужчины не представляют себе, *до какой степени* женщина может оставаться равнодушной к так называемой физической привлекательности, как они порой бывают преданы домашним, безобразным, стареющим мужчинам. Господи! Иногда мне кажется, что эти домашние ублюдки добиваются расположения самых красивых женщин!

Меня всегда спрашивают, существует ли сходство между моими женами: полагаю, оно должно существовать. *Иногда,* я сознаю его. Иногда. И тем не менее, если их сравнить, это совершенно разные люди. Кто-нибудь сказал бы, что между ними нет ничего общего. Но *для меня* в них должно быть что-то общее. Скажу вам, что меня привлекает. Мне нравятся сильные женщины. Я человек пассивный, в известной мере слабый. Понимаете, я не отношусь к типу «настоящих мужчин», и меня всегда влечет к женщинам с сильным характером. Я это заметил.

Борьба с ними сводится к борьбе умов. К тому же я убедился, что меня интригуют женщины ускользающие, которые лгут, разыгрывают сцены, сбивают с толку, все время держат в напряжении. По-видимому, мне это доставляет удовольствие!

Впрочем, я считал, что они сильно отличаются друг от друга и по складу ума, и по физическим данным, хотя должен сказать, что, в сущности, все любимые мною женщины были красивы. Большинство моих друзей с этим согласны. Они были сексуальны. Конечно, это важно, но я никогда не ставил это во главу угла. Меня интересует характер женщины, ее индивидуальность, можно сказать, душа. Трудно поверить, но душа женщины — то, что больше всего меня озадачивает.

Мужчины всегда твердят: «Женщины, которых я выбираю». А я утверждаю, что это они нас выбирают. Здесь нет моей заслуги. Разумеется, я ухаживаю за ними, всячески стараюсь понравиться и все такое, но я не могу сказать: «О, эта телка будет моей. Это мой тип, и я собираюсь ее поиметь». Далеко не так просто.

Многие мужчины рассматривают взаимоотношения с женщиной с точки зрения секса. Мне же интересна именно *мысль* о сексе. Меня заинтриговывает все, все, связанное с областью секса. Конечно, у меня богатое воображение. Я могу удивляться и озадачиваться тем, как это делается там и сям, везде, какими разнообразными способами и т. д. Но секс — отнюдь не императив. С таким же успехом я могу обойтись без него.

Я действительно считаю, что женщинам трудно со мною жить. И, тем не менее, знаете, мне кажется, что я — самый легкий человек на свете. Но, видимо, во мне есть что-то деспотическое. И, вероятно, критический подход ко всему на свете усугубляется, когда рядом со мной кто-то обитает — неважно, мужчина или женщина. Я склонен изображать все в карикатурном виде. Быстро нахожу чьи-то слабые струнки, чьи-то недостатки и эксплуатирую их. Ничего не могу с этим поделать.

Вот какой я человек. Сначала водружаю женщин на пьедестал, идеализирую их, а потом их же изничтожаю. Не знаю, насколько правдиво звучат мои слова, но, по-видимому, они действительно срабатывают таким образом. И, тем не менее, со всеми — кроме одной женщины — мы остаемся друзьями, добрыми друзьями. Они мне пишут и уверяют, что по-прежнему меня любят и т. д. Как вы это объясните? Они любят меня таким, каков я есть, но жить со мной не могут.

Где бы я ни оказывался, я всегда работаю без особых усилий, наверное, потому, что пишу лишь тогда, когда чувствую к этому тягу. Я никогда себя не заставлял. Писал каждый день, всегда на свежую голову. Я себя дисциплинировал. Пока я жил в Биг Суре,

рано ложился спать. Там не было ни телевидения, ни радио, ничего. В 21.00 я был в постели и просыпался на рассвете. Наблюдал за восходом солнца. После завтрака шел прямо в свой рабочий кабинет и писал до полудня. Потом ложился поспать, а после этого, если чувствовал в себе силы, рисовал. И вместе с тем старался выкроить время, чтобы поиграть с детьми и погулять в одиночестве по холмам или в лесу.

Моим близким другом в Биг Суре, закадычным другом, был Эмиль Уайт, прибывший туда на месяц позже меня. Он был моим ближайшим другом и часто заходил ко мне. Или же я приходил в его хижину на обочине. Наши с ним разговоры в корне отличались от тех, что мы вели раньше в Париже с Майклом Фрэнкелем. Эмиль был беспечен и всегда готов меня покормить. Он также был большим книголюбом. Он еле сводил концы с концами, рекламируя книги по почте. До приезда в Америку его жизнь была полна приключений. В 17 лет его как-то раз приговорили к смертной казни за участие в революционном движении в Венгрии. Он чудом спасся.

В Биг Суре было вообще немало интересных людей. Конечно же, мой ближайший сосед, Гарри Дин Росс, с которым я часто виделся. Он тоже был книгоманом и обладателем замечательной библиотеки, одним из самых начитанных людей, которых я когда-либо знал. Каждый год он перечитывал любимых авторов. Я провел много удивительных часов, беседуя с ним — не только о книгах, но и обо всем на свете. Подобно многим незаурядным личностям, он был самоучкой.

Еще там жил Джек Моргенрат, приехавший из Нью-Йорка. Он был замечательным человеком, к тому же никогда не жил в деревне. Это был прирожденный раввин. В Биг Сур он приехал, потому что мечтал жить той целомудренной жизнью, о которой был наслышан. Поначалу не знал, чем заняться, но вскоре нашел себе работу огородника и ходил по домам. Иногда заходил к нам выпить стакан вина и просиживал часами. Мы беседовали о многом, включая религию и философию. Он был кротким, спокойным человеком, воплощением анархизма.

Потом был еще один замечательный парень, которого я вновь встретил во время своего последнего приезда в Биг Сур — Говард Уэлч, мусорщик. Он был очарователен. Приехал из Миссури. Однажды он неожиданно объявился и выразил желание примкнуть к общине Биг Сура. Он заявил: «Не знаю, что я умею делать. У меня нет никаких талантов, но я готов делать что угодно». Таким образом, поначалу он рыл канавы, мыл посуду, чинил водопровод, брался за любую случайную работу. А как-то раз обнаружил, что нам не хватает именно мусорщика. Нам

запрещалось выбрасывать мусор и отбросы в океан. Мы были обязаны перевозить его в Монтерей, за сорок миль! Итак, Говард купил себе несколько огромных бочек и грузовик (кто-то его субсидировал) и каждую неделю собирал наш мусор, взимая за свои труды умеренную плату. Так зарабатывал на жизнь и отнюдь не бедствовал. Он тоже никогда и нигде по-настоящему не учился, но слушать его было одно удовольствие. Подбирал всякий хлам, притаскивал его к себе во двор, сваливал в кучу, копался в ней, сортировал и находил удивительные вещи, выброшенные людьми на помойку. Его дом заполонен этими находками — кроватями, стульями, клетками для птиц, всем. Хочу заметить, что этот человек преуспел в жизни. Не в материальном отношении, а в выражении своей духовности. Этот человек — счастливец. Сейчас он пишет, чертит, рисует и всему научился самостоятельно. Он не знает грамматики, даже неправильно произносит слова, но пишет! Я говорю ему: «Говард, это замечательно. Не переживай, если ничего не напечатают. Тебе нравится писать? Тогда продолжай». Он ответил: «Генри, ты — единственный, кто направил меня на верный путь». Под этим он подразумевал: заниматься тем, что тебе нравится и ничем другим. Может быть, мусором распоряжается Бог.

Там жил еще один человек — не помню, упоминал ли я о нем, — с ним я познакомился сразу, как прибыл на Партингтон-ридж. Тогда мы с ним были единственными горными жителями. Он жил на вершине горы. А я — на высоте тысяча футов. Его звали Хайме Ди Анхело, его отец был испанским послом во Франции. Хайме сбежал из Парижа в Америку 19-летним юнцом, чтобы вести жизнь ковбоя. И он им стал. Потом жил с индейцами и заделался шаманом. Он учился в университете Джонса Хопкинса — сначала на антрополога, а позже на врача. Бегло говорил на нескольких языках. Сколотил себе хижину на самом гребне горы. Перед приездом в Биг Сур жил в Сан-Франциско на широкую ногу. В Биг Суре полностью переменил образ жизни. Жил дикарем, иногда бродил по округе абсолютно голый. Много ездил верхом, часто нагишом. В центре построенного им бетонного дома стояла огромная колода для рубки мяса. В нескольких футах от нее — стол, заваленный иностранными словарями. Он написал книгу о происхождении разговорной речи, которую так и не опубликовали, поскольку она была слишком неортодоксальной. Добывал себе пропитание охотой и готовил на костре. Он проделал дыру в крыше, чтобы через нее выходил дым. Его постигла трагическая смерть.

В Кармел Хайлэндс у меня был друг, Эфраим Доунер, художник и прекрасный человек. По дороге домой из Монтерея,

куда я ездил за покупками, я останавливался у него и мы обедали. Он был великим кулинаром. А еще мы подолгу играли в пинг-понг. Доунер был очень беден. Зарабатывал гроши. Тем не менее, когда я отправлялся в город, он ждал меня у бензозаправки, чтобы убедиться, хватит ли мне денег на бакалейные изделия. Если ему нездоровилось, он просил хозяина бензоколонки дать мне взаймы. Удивительный человек!

Через полгода после моего приезда, когда по всей округе прошел слух, что я там поселился, ко мне вереницей повалили посетители. Должен сказать, это были гости со всего света. Люди всякого звания, добрые и злые, кто только ко мне не вторгался. Часто, выполняя какую-нибудь тяжелую работу во дворе, когда ко мне заявлялся визитер, я объяснял, что у меня нет времени беседовать с ним, но, если он настаивал на разговоре, то я давал ему лопату или мотыгу и он мне помогал. И все шло своим чередом.

Я никогда не претендую на роль умельца в том деле, какое не могу делать хорошо. Все плотницкие работы брали на себя мои друзья. Я не могу прямо вбить гвоздь. У меня вообще отсутствуют способности к плотницкому делу. Мне всю жизнь везло на друзей; если я не умею что-то делать, то мне с радостью помогают в этом друзья.

Хотя я ничего не строил, безусловно, хватало другой работы, чтобы участок не зарастал кустарниками. Приходилось расчищать землю от зарослей. Не забывайте, когда я впервые приехал туда, в этих местах были буквально джунгли. Чудовищный дубняк по высоте доходил до потолка комнаты и его корни занимали площадь около половины акра, то есть большую часть участка. С помощью друга мне в основном удалось их выкорчевать. Примерно через год я принялся перекапывать весь участок размером в акр. Копал глубокие траншеи, как во время первой мировой войны, чтобы добраться до корней проклятого дубняка. Это была бесполезная работа, поскольку, по-видимому, их корни бесконечны. Я постоянно вел с ними борьбу. Даже когда спускался за почтой, у меня в руке была палка и я крошил вокруг себя заросли. Это был единственный способ проложить себе путь. Но я ничего не строил и не крыл крышу черепицей. Черепичной кровлей занимался мой друг Доунер. Жизнь в Биг Суре была суровой. Приходилось поддерживать превосходную физическую форму. Это была очень активная жизнь. Первые год-два я каждый день поднимался и спускался с этого холма, проходил в один конец расстояние в две мили. Длинный, крутой холм. Я не только гулял, но также таскал на спине тюки, набитые всякой всячиной — бакалейными товарами, керосином для ламп, всевозможными

вещами. Часто мне приходилось ходить по два раза, чтобы забрать весь этот хлам. А потом, закончив работу, каждый день я уходил бродить по холмам. Нахаживал за одну прогулку еще четыре-пять миль. Когда дети были маленькими, один из них всегда сидел у меня на закорках.

Один раз я надолго уехал в Европу с Ив, вскоре после ее приезда, а другой — еще с кем-то, что ускорило мой отъезд из Биг Сура.

Видите ли, каждый раз, женившись, я прекращал встречаться с другими женщинами. В моей жизни всегда было много женщин, но обычно я позволял себе эти шалости, если можно это так назвать, в те периоды, когда был холост. Как я уже говорил, когда меня пригласили в жюри Каннского кинофестиваля, я попросил молодую женщину, проживавшую в Биг Суре, сопровождать меня. Ив сказала, что не возражает. Но в тот же день, когда девушка прибыла в Канн, я получил от Ив телеграмму со словами:

«Подаю на развод».

Вернувшись из Европы, мы с Ив продолжали какое-то время жить вместе. Как вы понимаете, мне было нелегко жить с ней после развода, хотя мы и оставались добрыми друзьями. Все это время дети жили в Лос-Анджелесе со своей матерью, которая опять шла замуж и снова развелась. Дети умоляли меня приехать и общими усилиями воссоздать семью. Они скучали по мне, мне не хватало их, так что я согласился. Ив осталась в Биг Суре и вскоре вышла замуж за моего ближайшего соседа.

В Париже я вкусил свободы, в Биг Суре — обрел спокойствие души. Думаю, я действительно там полностью интегрировался.

Во время недавней поездки в Биг Сур я не обнаружил никаких радикальных перемен — просто прибавилось домов и людей. Биг Сур остается почти таким же, каким был всегда. Он казался мне первозданным. И, мне кажется, так будет всегда.

Но жить я бы туда не вернулся. Эта часть моей жизни закончена. Стоит мне откуда-то переехать, и я покидаю эти места навсегда. Кроме того, я больше не выдержал бы этой жизни физически. Подъемы и спуски с холма — слишком большая нагрузка для моего артритного бедра. Но как чудесно было в Биг Суре, когда я побывал там в прошлом декабре: и дождь, и все вокруг. Боже, в ту минуту, когда я туда приехал, я спросил себя, как я мог покинуть эти места. Бодрящий воздух, бесконечная линия горизонта. Находясь на своей веранде, выходившей на безбрежный океан, я всегда думал о Китае, до которого — тысячи миль, и о рождении нового общества, возможно, общества мирного созидательного труда.

Живопись

Важно овладеть основами мастерства, а в старости набраться храбрости и рисовать то, что рисуют дети, не обремененные знаниями.

Мое описание процесса живописи сводится к тому, что ты что-то ищешь. Думаю, любая творческая работа — нечто подобное. В музыке извлекаешь ноту. Она ведет к следующей ноте. Одно определяет другое. Если подходить к этому философски, идея заключается в том, что твоя жизнь — вереница мгновений. В таком случае каждое мгновение определяет последующее. Ты не должен рваться вперед, перемахивая через пять ступенек, поднимайся только на самую ближайшую, и, если можешь этого придерживаться, с тобой всегда все будет в порядке. Люди слишком далеко заглядывают, ищут окольных путей и все такое. Думайте только о ближайшем будущем. Делайте только то, что у вас перед носом. Это так просто, но, по-видимому, лишь немногие способны так жить.

Полагаю, вы не представляете себе, как я начал заниматься живописью. У меня был друг детства, с которым мы продружили всю жизнь, пока он не умер — несколько лет назад. Мы были знакомы с десяти лет. Разница между нами состояла в том, что в десять лет он уже был талантливым художником. Учитель говорил: «Эмиль, иди к доске и нарисуй нам что-нибудь», и он шел и рисовал. К сожалению, в юности мой друг превратил свой талант в источник дохода. Надо было содержать мать, отца, сестру и брата. Он так никогда и не стал великим художником, но остался тонким ценителем искусства. Мы ночи напролет просиживали с ним, разглядывая книги по искусству, изучая репродукции, обсуждая школы, периоды, технику. Это был очень важный период в моей жизни. Я еще ничего не нарисовал. Считал себя в этой области бездарью.

Положение изменилось, когда я увидел альбом акварелей Георга Гроша. На обложке этого альбома («Ессе Ното») — портрет мужчины. Как-то ночью, не знаю, что на меня нашло, я скопировал этот портрет и получилось очень неплохо. «Ей-богу, может быть, я умею рисовать красками», — сказал я. Вот так я и начал.

В дни юности, когда я впервые взялся за кисть, происходило довольно много событий. Я был тогда отчаянно беден. Все, что я

мог сделать, чтобы развлечься, это добыть бумагу — любую бумагу, оберточную, для завертывания мяса, удивительным образом подходящую для определенных занятий, — и рисовать.

Но не надо забывать о моем друге Эмиле, столь замечательно подковавшем меня, прививше мне художественный вкус и благоговение перед искусством. Эмиль Шнеллок из Бруклина. Он был талантлив, но не состоялся как художник. Он стал преподавателем в женском художественном колледже. Должен сказать, что учителем он был превосходным.

Впоследствии я работал с несколькими художниками, моими друзьями, — Эйбом Раттнером, Хилаиром Хайлером, Хансом Райхлем. Я сказал им, что хочу лучше узнать технические приемы. После двух-трех занятий они ответили: «Ну хватит, Генри. Не старайся научиться. Лучше обойдись без этого». Сообща они отговаривали меня, но в мягкой форме. Они имели в виду, что не хотят убивать те крохи таланта, которые во мне были. К тому же они поняли, насколько я бездарный ученик. И были правы.

Из живописцев я больше других чтил Ханса Райхля — немецкого художника, эмигрировавшего в Париж. Его картины нравились мне даже больше, чем работы Пауля Клее. Пауль Клее и Джон Марин — два мастера акварели, к которым я хотел бы когда-то приблизиться в своей работе, но мне это не удается. И если говорить о том, кто повлиял на меня, то, несомненно, на первое место я поставил бы их и Райхля. Но еще до них, задолго до того, как я о них услышал, это были японские мастера. Они и сегодня остаются моими любимыми художниками и кумирами. Я имею в виду таких живописцев, как Утамаро, Харосиге и Хокусаи. Мне никогда не надоедает смотреть на их картины.

Мне говорят: «В этой работе вы изменили свою манеру». На это я отвечаю, что они не понимают, о чем говорят. Как вы помните, к этому времени я нарисовал 3000 акварелей; я прекрасно помню все свои работы и просто не понимаю, что люди хотят сказать подобными высказываниями. Безусловно, стиль моего письма меняется. Я и сам меняюсь изо дня в день, но это не те радикальные перемены, как, например, у Пикассо, поскольку у меня отсутствует его дарование.

Порой мне бывает жалко Пикассо, хотя я и знаю, что он один из великих, поистине великих людей в таком обществе, как наше. Но я жалею его за то, что он — раб или жертва своих творений, своего рода невольник своей музы. Говорят, он чувствует себя несчастным, если не работает. Он, так сказать, не может наслаждаться жизнью, не работая. Но я должен отметить одно обстоятельство. Мне кажется, все его высказывания — кладезь

мудрости, они звучат образно и остроумно. Его можно спросить о чем угодно, даже о том, в чем он ничего не смыслит, и получишь удивительный ответ. Его ум постоянно работает, и это не тот ум, что повторяет без конца: «Я знаю, я это изучал, я к этому готовился». Нет, это ум острый, неожиданный, спонтанный. Понимаете, я думаю, в мире очень немного настоящих мыслителей, ведь по сути все мы — лунатики; мы не думаем, мы просто реагируем. Говорим то, что слышали, повторяем то, что заимствовали у других. У нас нет собственного мнения. А суждения Пикассо оригинальны, и даже если они сумасшедшие, абсурдные, перевернутые вверх дном, по-моему, они исполнены величайшего смысла.

А сейчас мне вспоминается другой факт, касающийся моей любви к китайской мудрости. Ведь для китайца все эти размышления и муки творчества — просто забава. Он не придает им первостепенного значения. Возможно, это и самая захватывающая игра, но всего лишь развлечение. Живопись — для меня развлечение. Я знаю одно: я хочу рисовать; на самом деле больше ни о чем я не думаю. Мне нравится ощущать в своей руке кисть. Но что это такое, отчего я занимаюсь живописью, что происходит, я никогда не узнаю.

Иногда я смотрю на открытку или рекламу и завожусь: «Как хотелось бы нарисовать нечто подобное», — говорю я себе. Цветные открытки на самом деле вызывают у меня интерес. Ставлю открытку перед собой и говорю себе, что собираюсь ее скопировать. Это может быть пейзаж: гавань с лодками и здания; конечно же, нарисованный моей рукой, он оказывается совершенно другим, поскольку я неспособен даже толком скопировать.

Было время, когда те или иные страны ассоциировались у меня с определенными оттенками красок. Так Китай я помню — желтый, прежелтый. Китайская желтизна — это нечто такое, что всегда меня очень интересовало. Раньше дни и ночи напролет я просиживал с Эмилем Шнеллоком, моим первым другом и художником. Мы часто говорили об оттенках красок. Однажды я спросил его: «Как у тебя получается золотистый отлив?» Да, я задавал подобные наивные вопросы. Это продолжалось всю ночь, разговор о золотистом оттенке, как его добиться, кто в этом преуспел и т. д. В течение недели или более того я сходил с ума по желтому цвету, все представлял себе в желтых тонах и рисовал желтыми красками.

Кстати, я часто использую губку. Временами добиваешься желаемого эффекта в работе над акварелью. А еще очень люблю — ив этом, наверное, я преуспел больше всего, — когда у меня

ничего не получается. Обычно это лист очень плотной бумаги, который мне жалко выбрасывать. Так что я опускаю акварель в ванночку и изо всех сил тру ее щеткой. Не имеет значения, насколько я смыл краски: следы все равно остаются. Затем переворачиваю обесцвеченный лист другой стороной и рисую на нем что-то прямо противоположное. Тусклый фон неудавшейся картины определяет новую работу.

Такого рода технические приемы можно рассмотреть с философской точки зрения, чего люди, как мне кажется, никогда себе не представляют. В наших руках некая великая сила: способность превращать одно в другое. Когда что-то не получается, ты вынужден устранять неполадки. Мне кажется, это благо ниспослано нам Богом, и это величайшее обстоятельство касается всей вселенной: оно заключается в том, что она поддается изменению. Возможны какие угодно превращения. Человек наделен частицей этой силы: взяться за неудавшееся и проигранное дело и превратить его в нечто новое и удивительное.

Часто случается, что я рисую две человеческие фигуры. Порой трудно определить, кто из них мужчина, а кто — женщина. Много раз, закончив рисовать одну фигуру, я спрашиваю себя, мужчина это или женщина? Это не имеет значения. Нарисую то, что, по моему мнению, является головой мужчины, а потом пририсую этой фигуре грудь, поскольку меня не интересует, кому она принадлежит. Порой грудь — это именно то, что интересно само по себе.

Я всегда в поиске. Чем больше я смотрю на работы Георга Гроша, тем больше восхищаюсь и удивляюсь тому, как искусно он совмещает цвет и рисунок. Он может взять большие пятна — оранжевые, черные, серые, любых оттенков, и сочетать их с затейливо переплетающимися линиями. Полагаю, это настоящее искусство, истинное мастерство. Он был великим художником. Его ранние работы пронизаны жестокостью, и они так и были задуманы — как осуждение немецкого государства; народу, всей нации вынесен смертный приговор. Не думаю, что даже Гойя обошелся с испанцами так, как Грош — с немцами. Он оставил на них неизгладимый отпечаток. В его картинах они осуждены навечно. И, тем не менее, эти картины доставляют эстетическое наслаждение, несмотря на страшную и жестокую сюжетную линию.

В моих картинах нет иронии, но я действительно использую множество символов. Знаю, что повторяю их. Некоторые символы появляются неоднократно. Один из них — звезда Давида, и если бы вы спросили, почему, я бы не смог вам ответить. Также часто возникают луна, полумесяц или серп луны. Думаю, это чисто

декоративное явление. Но у меня нет никаких побуждений использовать символы. На самом деле, я все делаю бессознательно. Это интересный и странный факт, вот почему так трудно говорить или писать о моих занятиях живописью. Когда я сажусь рисовать, то почти никогда не знаю, что собираюсь изобразить. Иногда у меня есть какие-то наметки; может быть, я хотел бы нарисовать пейзаж, но в процессе работы пейзаж может превратиться во что-то совершенно противоположное.

Я все больше и больше убеждаюсь, что самое правильное, не для всех, а для меня, отнюдь не прирожденного художника, а бесталанного дилетанта, — следовать своей интуиции: пусть кисть в моей руке решает все за меня.

То же самое и с сочинительством. Я стараюсь не думать. Пытаюсь обнажить все то, что рвется изнутри.

Существуют разные виды живописи, и, безусловно, различные школы. Их представители придерживаются определенных идей. Одни следуют этому направлению, другие тому, я — никакому. Меня заносит. Каждая картина — новое приключение.

Астрологические знаки — очень мощные символы и они для меня важны, но я слишком ленив, чтобы сопоставлять их или копировать. Так что я бездумно рисую нечто, напоминающее астрологический знак. Иногда они получаются совершенно удивительно. Безусловно, все символы пробуждают интерес. По моему мнению, единственно точным и стабильным выражением мысли является язык символов. Диапазон нашей разговорной речи крайне ограничен. Язык символов неизменен, неизгладим.

Я часто рисую рыб, потому что мне легко их рисовать. Я не стараюсь изобразить то, что у меня не получается. Художник увидит рыбу на одном из моих рисунков и скажет: «Знаете, она здесь совсем ни к месту». Ну и что? Могу поклясться: я никогда не задумывался над тем, почему хотел нарисовать рыбу. Это получается непроизвольно. С таким же успехом я мог нарисовать и что-то другое. Подобные вещи меня не волнуют. Что действительно меня беспокоит, так это утверждение о том, что я рисую как Марк Шагал. Я горячий поклонник его таланта, но у меня никогда и в мыслях не было ему подражать. Не требуется подробного критического разбора, чтобы увидеть разницу между Шагалом и мною.

Я также прихожу в восторг от работ Утрилло и Сера. Я хотел бы найти время и силы для монументальных подробных полотен в духе Сера. У меня много горячо любимых картин, включая творения старых мастеров. А работы таких великих художников, как, например, Леонардо да Винчи, ничего для меня не значат

Иногда мне нравится раскрашивать лист бумаги заранее. Я

могу просто наложить несколько тонких слоев на голубой или желтый. Часто прежде, чем начать что-либо рисовать, подбираю красивый фон. Если бумага еще влажная, тем лучше. Мне нравилось то, что происходило, когда краски расплывались, когда они мягко растекались.

Могу сказать вам еще кое-что, о чем вы и не подозреваете. Многое зависит от того, сколько у меня времени. Часто я начинал рисовать свои акварели приблизительно за час до обеда, как раз, когда начинало темнеть. Иногда мне не хочется включать электрический свет. Я смотрю на часы. В моем распоряжении 15–20 минут или полчаса. Это решает, как я буду рисовать.

Обычно я тороплюсь и работаю смелее. За десять или двадцать минут я ухитрялся нарисовать несколько весьма неплохих акварелей. Это на самом деле удивительно, поскольку, думаю, это нередко бывали мои лучшие работы. Всегда, и это действительно так, лучшие акварели у меня получаются тогда, когда я устаю и мне кажется, что я выдохся, не могу приступить к новой работе. Тогда я говорю себе: «Ну, попробую нарисовать еще одну!» И она получается удачной. Когда в вашем распоряжении уйма времени, надлежащий лист бумаги и вы все организовали соответствующим образом, вы не можете рисовать.

Чаще всего мой метод использования красок — случайность. Существует определенная гармония сочетаемых мною цветов, но на самом деле я не обдумываю это заранее. Я не всегда знаю, что получится при наложении одной краски на другую. Но по счастливой или несчастливой случайности, мне довелось жить с несколькими художниками, действительно понимавшими толк в оттенках красок. Они помешались на этом вопросе. Но я никогда не мог всецело стать их преемником.

Художниками, хорошо владеющими цветом, являются дети. Когда они рисуют, то пренебрегают правилами, их движения спонтанны. Они выражают то, что чувствуют. В известном смысле, это противоречит всем критериям. Но это срабатывает, имеет успех. Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что у детей это получается. Важно овладеть основами мастерства, а в старости набраться храбрости и рисовать то, что рисуют дети, не обремененные знаниями.

Наложить зеленый на зеленый, голубой на голубой, это всегда приносит блестящий эффект. Если вы ходили в художественную школу, вам обо всем этом рассказывали. Вы знаете заранее, что можно и чего нельзя делать. Потом вам приходится забыть все то, чему вас учили. Намного интереснее самому совершать открытия, чем обучаться этому в школе. Вот почему я вообще против учебы в школе.

Я пытался не посылать своих детей в школу, когда мы жили в Биг Суре, но этому воспротивились местные власти. По-моему, школьное образование действует разрушительно. Оно убивает любознательность и желание учиться. Школа выхолащивает творческое начало. Как только дети выходят из детского сада, начинается промывание мозгов. Думаю, если доходишь до всего своим умом, становишься внутренне богаче. Зачем терять время на учебу? Большинство людей, мечтающих стать художниками, бездарны, так или иначе они останутся у придорожной полосы. Так зачем пускаться в тяжелый путь? Учеба в школе создает иллюзию того, что благодаря знаниям из тебя выйдет художник. Все равно что знать, как правильно писать по-английски. Это имеет весьма отдаленное отношение к мастерству писателя.

Кто я такой? Я, что, взял на себя обязанности критика? Нет, особенно если это касается собственной работы. Когда я смотрю на нее, не знаю, с чем ее соотнести. Для меня самое главное заключается в удовольствии просто взять в руки кисть и посмотреть, что произойдет. Другое дело, «что произойдет». Скорее я пускаю все на самотек, чем планирую, воспроизвожу и довожу до конца. Если необходимо вынести приговор моей работе, отрицательный ли, положительный ли, то это должен быть взгляд стороннего наблюдателя, а не исполнителя. Функции исполнителя заканчиваются в тот момент, когда работу оцениваешь.

Естественно, к некоторым картинам я привязан больше, чем к остальным. Кое-какие свои работы, к сожалению, я раздарил. А какие-то мне хотелось бы сохранить просто ради удовольствия смотреть на них. Кто-то может сказать, что некоторые мои картины понятнее, чем другие. Сторонние наблюдатели хотят во всем найти смысл. Хотят оправдать свои ожидания. Они не в состоянии принять картину такой, как она есть, пытаются дать ей название, как-то ее обозначить, проанализировать.

Говорят, во многих картинах лица людей в той или иной степени напоминают мое собственное. Это правда, поскольку я не знаю, как изобразить человеческое лицо в разных ракурсах. Вероятно, иногда мне хотелось бы придать лицу то или иное выражение, но я не знаю, как это сделать.

Помню, на одной из своих картин пытался изобразить город, плывущий по небу, но, не думаю, что мне это удалось. Это те мысли, что приходят на ум. Часто все упирается в вопрос техники. Как, скажите, передать ощущение чего-то плывущего или, к примеру, жидкого? Похоже, многое из того, что рисовал, я никогда не смогу повторить. Если бы мог, то постарался бы передать на бумаге гораздо больше. Помните, какие

замечательные слова произнес Хокусаи, когда ему исполнилось 65 лет? Я привел их в начале одной из своих книг. Он сказал, что в 65 только начал осваивать свой метод, а он рисовал с юных лет. В 65 ему удалось его нащупать. В 75 — он мог бы чуть продвинуться вперед, а в сто лет, по его мнению, постиг бы большую часть. В сто лет, не забывайте. И он на самом деле прожил почти до ста.

Говорят, я отношусь к своим работам более критично, чем большинство художников. Иногда у меня хватает наглости критично отнестись к картинам старых мастеров. Хотите, честно скажу, что я думаю? Девяносто процентов того, что называют картинами старых мастеров, может быть выброшено на помойку. То же самое о книгах. У меня такое же отношение и к ним. Очень малая часть культурного наследия, созданного человеком за промежуток времени, названный цивилизацией, которой всего навсего — несколько тысяч лет, вообще представляется мне имеющей какую бы то ни было ценность.

Большинство людей, знающих, что я не художник, а писатель, думают: как здорово я, должно быть, развлекаюсь, рисуя, поскольку мне явно безразлично, что я рисую. Я не так хорошо разбираюсь в живописи, чтобы воспроизвести мысль, идею, выражающую мой бунт против общества.

Я вообще не знаю, почему использую определенные символы. Может быть, чтобы заполнить пространство. Меня все время спрашивают: «Это так или сяк? Я вижу то или это? Я отвечаю: „Это то, что видите вы, а не я“». Существует громадное различие между зрительным процессом и мысленным восприятием. Люди лишь видят глазами, они не проникают душой, а истинный взгляд принадлежит душе. Мы бы ничего не увидели, если бы не приходила в движение душа.

Временами, глядя на мои работы, люди говорят: «Как это получается, что мы не видим никакой порнографии, никаких непристойностей в ваших картинах? Почему это так?» Не знаю, почему. Это никогда не приходит мне в голову, когда я рисую. Мысль — отнюдь не отправной пункт в моей живописи. Я выражаю свои мысли, когда пишу книги. А живопись — это спонтанность, повторяющаяся изо дня в день. Какими бы ни были проявления, на бумаге они обнаруживают себя.

И пока дело обстоит так, ничто другое меня не волнует.

Кстати, совершенно так же я отношусь и к науке. Я в нее не верю. Мне кажется, что девяносто процентов научных изысканий — фикция, хотя остальные десять — открытия. Но ведь это мистика! Это срабатывает с равной силой как в жизни, так и в работе. Думаю, что одним из печальных жизненных фактов

является то, что каждый планирует наперед, старается обезопасить себя, пытается поймать за хвост удачу вместо того, чтобы положиться на потусторонние силы. Мы бросаемся из крайности в крайность вместо того, чтобы «они» вступили в действие, какими бы мистическими эти «они» не были. Предоставьте «им» возможность решать все за вас, поскольку, я думаю, что «они» знают больше, чем вы или я. Вопрос надо ставить не: «А это правда? Этого достаточно?», а: «Это сработает?» То же самое и в занятиях живописью. Я также убедился, что это срабатывает и когда я пишу, поскольку, часто отступая от правил, я заметил, что так написал лучшие страницы своих книг.

Я не считаю, что наука и магия — сходные явления. Это разноименные полюса. Магия существует с древних времен. Наука появилась недавно. Недавно — может, две тысячи лет назад или десять тысяч лет назад. Годы не имеют большого значения. Прошу прощения за профессорский тон. Я ничего об этом не знаю. Но это моя инстинктивная реакция. Я враг — ученому, а он, думаю, наш противник априори.

В заключение должен рассказать вам кое-что о себе, что многое объясняет. Ни у одного человека в голове не царит такой хаос, как у меня. Люди думают, что я человек организованный. В доме порядок и на письменном столе — порядок. Но в мыслях — неистовый хаос. Не думаю, что мог бы рисовать и писать, не будь мои мысли столь хаотичны. Совсем недавно ученые откопали древнюю рукопись добиблейских времен. Ее надо соотносить с первыми словами Книги Бытия о сотворении мира. В этом манускрипте говорилось, что Бог упорядочит хаос. Это полностью отличается от сотворения мира. Что совершил Бог, так это навел порядок. Другими словами, Он не творил мир.

Художник — всего-навсего человек, обыгрывающий нечто, существующее до него. С моей точки зрения, это — исчерпывающее определение. Артюр Рембо сказал: «Ни один человек никогда ничего не создал». Человек — не творец. Ему дано лишь воображение и способность обыграть те или иные явления, не более того. Насколько человек в этом преуспевает, зависит от его таланта.

Париж

Для меня секс не был ежедневным занятием. Придавая ему определенное значение, я всегда был предан самой женщине. Больше всего меня интересует ее суть.

Впервые я приехал в Париж за два года до того, как окончательно там осел. Сначала я побывал в Париже со своей женой Джун в 1928 году. У нас было достаточно денег, чтобы прожить почти год. Тогда мы не были в столь бедственном положении, в каком я оказался позже. Очень ясно помню свои первые впечатления о Париже. Наш корабль приплыл в Гавр, затем мы сели в поезд, прибывающий на вокзал Сен-Лазар в Париже. Меня ошеломил сам вокзал с его застекленной крышей и огромным залом ожидания под названием «La Salle de Pas Perdus». [3] Это было очень оживленное место; поезд прибыл вечером, в самый час пик — и я не мог с ходу во все включиться. Я совершенно растерялся. К тому же совсем не говорил по-французски. Ни слова. Знал, как сказать «да», «нет», «спасибо», не более того.

Как мы добыли деньги, чтобы прожить этот год в Европе, — длинная история. Джун, моя новая жена, старалась любыми средствами дать мне возможность стать писателем. Когда мне не удалось пристроить свои произведения — рассказы и стихи в прозе, которые я сам отпечатал, — она принялась продавать их в кафе на Гринвич Виллидж и на Второй авеню. В течение этих дней она перезнакомилась со многими мужчинами; один из них страшно в нее влюбился, вероятно, он годился ей в отцы. Она разыгрывала из себя писательницу, но, конечно же, показывала ему мою рукопись. Тогда я писал роман, и она показала ему отрывки. «Замечательно, — сказал он. — У вас мужской подход. Вы подаете большие надежды». Поскольку он не очень верил в то, что когда-либо она действительно допишет роман, он пообещал, что если она все-таки его закончит, он даст ей денег, достаточных для самостоятельной жизни в Европе в течение года. Конечно, он и не подозревал о моем существовании. И тут я дописываю роман, она отдает его, и мы получаем деньги на поездку. Это была одна из моих книг, оставшихся неопубликованными, по-моему, она называлась «Взбесившийся член».

В те дни центр нашей жизни переместился на Гринвич Виллидж и Ист-сайд, и, особенно, на Вторую авеню, где

размещались все иностранные кафе. Потерпев неудачу с продажей рукописей, мы решили торговать вразнос импортными сладостями, которые я повсюду таскал с собой в чемодане. Сначала их взялся продавать я. Почти ничего не продал и стал предметом всеобщих насмешек. Тогда Джун, которая была очень красивой женщиной, взяла торговлю в свои руки, и, безусловно, преуспела. Иногда нам за ночь удавалось продать сладостей на 50-100 долларов.

Потом у нас появились деньги на поездку в Европу. Конечно же, тот человек, что дал их Джун, не собирался ехать с ней. Он был женат, связан работой, так что при всем желании не мог себе этого позволить.

Полагаю, у нас в наличии собралась сумма в размере 1500–2000 долларов, не более. Включая проезд. Мы плыли на корабле, французском лайнере — небольшом знаменитом судне, флагмане французского флота того времени.

Через несколько недель мы уехали из Парижа. Решили попутешествовать по Европе. Купили велосипеды, и я научил Джун кататься. По пути из Парижа в Марсель Джун попала в аварию, и наше велосипедное турне закончилось. Иногда мы ехали на поезде за город, какое-то время шли пешком, а потом садились на велосипеды и двигались по тропинкам вдоль каналов. Покупали кусок салями, французские булки, сыр, фрукты и устраивали что-то вроде пикника. Этот превосходный завтрак обходился нам очень дешево.

Я помню, где мы жили, впервые приехав в Париж. В «Гранд-отеле де ла Франс» на рю Бонапарт, совсем рядом с Галереей изящных искусств. Я ни слова не знал по-французски, но у меня был с собой разговорник. Однажды, когда у нас не было при себе наличных денег, жена предложила мне обратиться к хозяйке гостиницы и попросить у нее взаймы. Я заглянул в разговорник и вместо того, чтобы сказать: «Не могли бы вы *одолжить* нам денег», сказал: «Могу ли я дать вам взаймы». Она рассмеялась и ответила: «Конечно!» — но деньги одолжила.

Через год, когда я приехал один, то был очень, очень беден. Жил в постоянном ожидании денег от Джун. Сначала питался в скромном ресторанчике на замечательной маленькой улочке, прямо за плас Сент-Сюльпис, который назывался «Le Gourmet».[4] Там хорошо готовили, и обед обходился примерно в 27 франков. Включая вино и десерт. У вас была салфетка с кольцом, которую вы клали на стойку, закончив трапезу; салфетки менялись раз в неделю. Примерно через месяц я решил поговорить с хозяйкой ресторанчика, поскольку знал, что рано или поздно мне придется ей это сказать: «Если потребуется, — не знаю, как я умудрился

выучить всю фразу, но я ее осилил, — вы покормите меня в кредит? Могу я по-прежнему у вас столоваться?» И она, не задумываясь, ответила: «Да, конечно». Прошло несколько недель, и я попросил у нее разрешения питаться в кредит. Должно быть, столовался у нее еще два месяца, и мне ни разу не намекнули про деньги. Это было замечательно. Таков был Париж 1930 года.

Джун жила тогда в Нью-Йорке и по возможности высылала мне деньги. Где она только не работала. Я никогда не знал, как ей удавалось добыть денег, и не слишком вдавался в подробности. Она помогала мне, пока могла, но это продлилось недолго. По какой-то причине ее заработкам пришел конец, и я был загнан в угол. Потом наступили те ужасные дни, когда я просыпался с мыслью встретить знакомое лицо, кого-то, кто бы меня накормил и приютил на ночь, поскольку больше не мог позволить себе жить в гостинице. Тогда мне было не до фраков. Важнее было найти еду и ночлег. Это был кошмар. И так продолжалось год.

Потом как-то раз в американском клубе я наткнулся на одного парня, заявившего, что я похож на его бывшего начальника отряда бойскаутов. Он был адвокатом, совсем молодым человеком, мечтающем о карьере писателя. И выпускником Йельского университета. Отнесся ко мне с отеческой заботой. Услыхав о моем безвыходном положении, предложил пожить у него. Вечером я часто готовил ему ужин. Помню большую кухонную плиту, яркое пламя конфорок, снег на оконном стекле (квартира была огромная). Я убирался в доме, топил камин и к его приходу с работы везде царила идеальная чистота.

В те дни я готовил еду. Не был превосходным поваром, но мог сварганить ужин почти из ничего. Частенько тушил мясо.

Я прожил у него четыре-пять месяцев и все это время писал, даже в самые первые дни. Конечно, тогда я не брался за книги. Это были письма, ставшие основой моих книг, скажем так. Я писал на родину близкому другу-художнику, вдохновившему меня на занятия живописью, Эмилю Шнеллоку. Сейчас выходит сборник моих писем к нему. Каждый день я описывал все, что со мной происходило, что я открыл для себя в Париже. Многие письма послужили материалом для «Тропика Рака».

Потом я познакомился с Альфредом Перле, ставшим моим закадычным другом на время моего пребывания в Париже. Фред жил в гостинице, очень дешевой, и я часто ждал двух часов дня, пока он закончит работу. Я ждал его в кафе, а потом мы шли в его гостиницу. Это были времена, когда войдя в отель, самый недорогой, вы нажимали на кнопку и дверь открывалась. Проходя мимо окошечка консьержки, вам надо было назвать свое имя и

номер комнаты. Когда Фред выкрикивал свое имя, я крался на цыпочках прямо за ним, еле касаясь пола, чтобы не спугнуть портье. Затем приходилось спать в постели с Фредом. Представляете!

Утром, уходя на работу, Фред оставлял мне деньги на камине, чтобы я позавтракал. Если кто-то заходил, я делал вид, что забежал к нему на минутку. Так продолжалось до тех пор, пока он не устроил меня корректором в «Чикаго трибюн». Платили крайне мало. Обычно мы просаживали недельный заработок за один вечер на вкусный ужин и кино.

В конце концов мы решили снять маленькую квартирку в пригороде Парижа; местечко называлось Клиши. Позже я написал об этом эпизоде небольшую книгу — «Тихие дни в Клиши». Сейчас по ней сняли фильм. Через некоторое время нам удалось купить два велосипеда. По субботам и воскресеньям обследовали окрестности.

Мы проводили много времени, слоняясь по кафе — таким, как «Купол», «Селект», «Ротонда» и другие. Когда деньги кончались, искали расписание прибытия кораблей. На них всегда находились студентки колледжей, молодые американки, приезжающие в Париж на каникулы. Мы открыли способ, как поддерживать с ними знакомство. Они покупали нам еду и ссужали нас деньгами. Вдобавок время от времени бесплатно занимались с нами любовью.

Женщины… Всегда было много проституток. Довольно недорогих. Я бы сказал, что сегодня их услуги стоят примерно в двадцать раз дороже. То же самое — и с номерами в гостиницах. Задумайтесь, комната, в которой жил Перле, — убогая лачуга без ванны, туалет в коридоре и т. д. — ну, если я не ошибаюсь, обходилась 3.50-4 доллара в неделю. Знаете, сколько сегодня стоит подобный номер? Около десяти долларов в день. В день!

Всегда вокруг было множество проституток, с некоторыми мы подружились. Одну из них звали мадемуазель Клод, ее историю я описал. Она была довольно необычной девушкой. Жермена (я упоминал о ней в «Тропике Рака») на самом деле ничего для меня не значила. В то время, когда я работал корректором в «Чикаго трибюн», неподалеку от редакции было маленькое бистро, где мы обедали после работы. Задняя комната была такой просторной, что вмещала дюжину клиентов. Мы заканчивали работу в два часа дня — время, когда и проститутки прекращали работу, чтобы присоединиться к своим maqueraux.[5]

В дальней комнате бистро мы все встречались и вместе обедали. Помню алжирскую девушку с большими выразительными глазами, красивую проститутку, к тому же очень

начитанную. Мы часто разговаривали с ней о Прусте, Поле Валери, Андре Жиде и т. д. Она хорошо знала их произведения.

Однажды вечером после окончания ее работы я случайно наткнулся на нее. Я тоже отработал свое. На Монмартре есть бар. Вижу, она мертвецки пьяна. Мне нравилась эта девушка и не хотелось, чтобы с ней что-нибудь случилось, поэтому я предложил отвезти ее домой. Только мы прошли несколько кварталов, прямо напротив знаменитого публичного дома, очень популярного, который держали две англичанки, как она решает пописать. Садится на корточки, и из под нее прямо в сточную канаву течет струйка. Следующий факт заключался в том, что она решает заодно и покакать. Затем к нам подошел полицейский и пригрозил забрать нас в участок. Мне как-то удалось уговорить его этого не делать. Я сажаю ее в такси и отправляю домой. Она ревет белугой.

Не помню, чтобы я когда-либо болел в Париже триппером, но страшно страдал от геморроя. Я не избавился от этой напасти до последнего времени, пока не встретил в Беркли замечательного уролога, после нескольких визитов он сказал: «Знаете, не думаю, что вам стоит и дальше беспокоиться по этому поводу. Если у вас рецидив, просто не позволяйте ему вас беспокоить. Не думайте об этом. Все пройдет. Главное, постарайтесь не волноваться». Я принял его совет близко к сердцу и больше никогда не страдал от этого недуга.

Как я уже говорил, моим веселым собутыльником в те дни был Альфред Перле. Он бывал у меня почти каждый день, мы общались и мне часто приходилось его кормить. В случае необходимости я мог приготовить еду на пять-шесть человек. Если к обеду приходили девушки, мы всегда умудрялись угостить их отборными винами. Часто к концу обеда напивались. Перле взял на себя роль шута. Однажды вечером, когда он был пьян, одна из девушек спровоцировала его раздеться. Сказано — сделано. Во время резкого танцевального па он смахнул на пол стаканы. К этому времени его пошатывало. Затем он начинает изображать Гитлера, что у него здорово получалось. Подпрыгнув, поскальзывается и падает на осколки стекла. Вскоре по всему телу сочится кровь. Все смеются, включая самого Перле, который к этому времени напоминает кровавое месиво. Когда девушки ушли, я положил его на кушетку в студии. Ночью он с нее упал. Когда забрезжил рассвет, он обнаружил себя лежащим в луже крови и блевотины. И, тем не менее, поднялся и, смеясь, дотащился до ванны.

Сегодня жизнь совсем другая.

Все о том, как и где я жил в Париже, описано в «Тропике

Рака». Я переезжал с улицы на улицу, из отеля в отель, из квартиры в квартиру день за днем. У меня не было постоянного адреса. Я вставал утром, вечно без гроша в кармане, спускался на бульвар Монпарнас, проходил мимо «Купола», «Селекта», «Ротонды» в поисках, как я всегда говорю, дружеского лица. Я стал похож на преступника, вглядывающегося в лица прохожих. Он ли — моя продуктовая карточка? Он тот парень, кто мне поможет? Я довольно точно определял людей. Обычно моими благодетелями были американцы или англичане, временами — русские. Редко — французы.

Я самозабвенно врал, от чего, разумеется, никогда не испытывал угрызений совести. Даже сегодня, если надо, я могу соврать, не моргнув глазом. Считаю, что ложь во спасение — это не ложь. Думаю, ложь, не наносящая никому ущерба, ложь, позволяющая тебе уберечь себя от крайности, оправданна. Нет, у меня никогда не возникало никакого чувства вины по этому поводу. Безусловно, я плёл самые разные небылицы. Когда вспоминаешь о критическом периоде, когда твоя жизнь висела на волоске, уже не помнишь ни своих действий, ни слов, поскольку это происходило в данную минуту, спонтанно и искренне. Даже если это была ложь, она была истинной. Ее размыло в твоей памяти. У меня никогда не было определенных установок. Я никогда не культивировал это в себе. Всегда действовал интуитивно, бессознательно.

Не помню, как познакомился с литературным агентом. Это был известный писатель Уильям Эспенволл Брэдли. Сначала я показал ему другую книгу (она не особенно его заинтересовала); я написал ее в Америке. А потом — эту новую — «Тропик Рака», — и он тут же ею загорелся. Сказал, что во всем мире существует только один человек, который осмелился бы ее издать. Речь шла о Джеке Кахане, владельце издательства «Обелиск пресс». Джек Кахане, англичанин, уроженец Бирмингема. Прожил в Париже много лет и обрел здесь вторую родину. В основном издавал порнографические книги, большую часть которых написал сам под псевдонимом. Время от времени он публиковал книги хороших писателей, таких, как Джойс. Когда Брэдли принес ему рукопись «Тропик Рака», он решил вынести ее на суд общественности. Немедленно показал ее своим французским друзьям, писателям и критикам, чтобы те ее оценили. Все отнеслись к ней с энтузиазмом, но никто не верил, что ее можно опубликовать. Считали ее слишком смелой даже для Парижа. Ему потребовалось два, почти три года, прежде чем он отважился на ее публикацию. А деньги на первое издание книги предоставила Анаис Нин.

Ожидая выхода книги, Кахане предложил мне написать небольшую монографию о Д. Г. Лоуренсе. Я никогда не собирался писать подобную книгу, хотя очень интересовался творчеством Лоуренса. Идея Кахане заключалась в том, что моя вторая книга должна носить другой характер, должна некоторым образом создать мне репутацию литературного деятеля. Я решительно возражал. Тогда он сказал: «Ну, вы же, безусловно, можете написать сотню страниц о Лоуренсе, вашем любимце, не правда ли?» Я неохотно согласился. И засел за исследовательскую работу. На основе объемистых конспектов написал 800 страниц и бросил эту затею. Я не смог закончить работу. Основательно запутался.

Думаю, что даже тогда я чувствовал, что у Лоуренса и у меня совершенно разный подход к жизни. Мне казалось, что Лоуренс придает сексу слишком большое значение. Во всяком случае, это скромное поручение написать страниц сто было дано мне на погибель. Я никогда не помышлял о прогулке по лабиринту, из которого не выбраться. Я был настолько поглощен идеями Лоуренса, что уже не различал, где мои мысли и где его. Я убедился, что он, как и я, полон противоречий. Как одержимый, я что-то записывал дни и ночи напролет. Не расставался со своим блокнотом. А в ресторане писал на бумажной скатерти.

До этого случая со мной никогда не происходило ничего подобного, после — такое случалось редко. Этот прецедент помог мне узнать кое-что о себе самом. С одной стороны, я писатель, а с другой — человек, наэлектризованный идеями, — и потому терплю фиаско. Работу над Лоуренсом я оборвал на утверждении, прямо противоположном тому, что говорил вначале. Я совершенно запутался, несмотря на то, что написал несколько абсолютно законченных глав. Сомневаюсь, что когда-либо снова возьмусь писать о чьем-либо жизненном пути и творчестве.

Секс я считаю таким же естественным явлением, как появление на свет или смерть. Не думаю, что это тема для особого обсуждения. Это важная сторона жизни — ее неотъемлемая часть, если хотите, но не понимаю, зачем придавать ей столь большое значение. Тем не менее Лоуренс возвёл секс в культ. Он уделял ему особое внимание. Мне кажется, подспудно он имел в виду два возможных пути спасения от действительности: уход в религию или самозабвенное занятие любовью. Что ж, я не считаю секс освобождающей силой. По-моему, Лоуренс придавал этому сверхъестественное значение. Мне понятна его позиция, это был своего рода бунт против морали его времени, но он зашел слишком далеко: проповедовал секс и создавал его приверженцев, что превращало его в

посмешище. Он никогда не ладил со своими последователями и, вероятно, в душе от них отрекался.

Если бы когда-нибудь Лоуренс прочитал мои книги, он, наверное, был бы возмущен тем, как я пишу, как описываю сексуальные отношения. Он никогда не употребил бы тех выражений, которые встречаются в моих книгах. Сегодня его произведения кажутся просто невинными детскими забавами. Он никогда не прибегал к ругательствам. В нем чувствовалось нечто пуританское. Возможно это присуще и мне. Я не щеголяю бранной лексикой без необходимости. Это хорошо вовремя и к месту. И должно создавать определенное настроение. Я не сыплю словами из четырех букв по поводу и без повода, как водитель грузовика. Интеллигенты склонны употреблять такого рода выражения для красного словца. Я их за это презираю.

По сути говоря, я не знаю, почему люди поступают так или иначе. Не думаю, что человек делает что-то умышленно или по очевидным причинам. Мотивы наших поступков много глубже, чем нам кажется, и гораздо более темны.

Джун приезжала два-три раза, с промежутками, на несколько недель. Мы по-прежнему были женаты, когда я жил в Клиши. Это было в году 1933 или 1934. В 1934 — я переехал в Виллу Сера; в день моего переезда вышла моя книга «Тропик Рака». К этому времени Джун уже от меня ушла.

Там все казалось намного проще. Здесь, в Калифорнии, расстояние — важный фактор. Даже прислуга позволяет себе иметь машину. Там же, в Париже, никто из моих знакомых не был владельцем автомобиля. Проехаться в такси — даже это было событием. Совсем другой была окружающая атмосфера. Никто не страдал от отчуждения или отсутствия общения. Мы всегда поддерживали связь друг с другом. Я был эмигрантом в чужой стране, где ощущал себя необычайно свободным.

В Париже я чаще всего общался с Майклом Фрэнкелем, с ним мы вели замечательные беседы. С ним же написали «Письма о „Гамлете“». В первое время он ненадолго приютил меня. Фрэнкель был коммерсантом в полном смысле этого слова. Играл на фондовой бирже и сколотил целое состояние на продаже книг.

Он был писателем и поэтом. Человеком с богатым воображением и блестящей памятью. Во многих отношениях мы были созданы друг для друга, особенно, когда дело доходило до разговоров. Он сдавал мне квартиру, в которой я жил в Париже последние четыре года. Сам жил внизу, на цокольном этаже. По утрам часто будил меня к завтраку. Я готовил завтрак (он ни черта не умел делать), и мы затевали беседу. Потом я кормил его ланчем и ужином! Он мог просидеть у меня до ночи. Не говоря уж

об этих изнурительных разговорах.

Он обожал беседовать на тему смерти. Он написал книгу «Смерть-ублюдок». По его мнению, мы должны пережить всё и всё преодолеть. Должны пройти по туннелю, чтобы выйти на свет. Он утверждал, что единственной реальной смертью является смерть-при-жизни, отнюдь не телесный конец. Он был метафизиком и логиком. Иудейским племянником Шекспира, с острым как бритва умом раввина.

А как мы ссорились! Именно ссорились. Книга «Гамлет» представляла собой непрерывную дискуссию, растянувшуюся почти на тысячу страниц. Он принадлежал к типу людей, которые верят в силу убеждения. Что касается меня, я ему подыгрывал. От меня требовалось одно — разжигать страсти. Я наслаждался беседой ради беседы, будь что будет. Фрэнкелю всегда хотелось удостовериться, что я его понимаю: «Вы согласны со мной? Вам это понятно?» И так далее. Он вел себя как мэтр.

Мы общались целых пять лет. Потом он уехал из Франции в Америку, там он и умер. Назревала война и каждый год люди думали, что на следующий она разразится. Так продолжалось около пяти лет. Каждый год новый поток беженцев устремлялся в Америку в страхе, что вот-вот грянет война.

Антонен Арто — удивительная личность того времени — был уже совсем сумасшедшим, когда я впервые его увидел. Мы с приятелями сидели на террасе «Купола», я — спиной к тротуару. Хохотали над чьей-то шуткой. Вдруг чувствую сильный удар по лопаткам. Оборачиваюсь — это Арто. Он решил, что мы смеемся над ним.

Я был довольно близко знаком с Леже. Не помню, как мы познакомились, но запомнилось, что в своей нью-йоркской квартире он несколько раз угощал меня ужином во время оккупации. Эйба Раттнера я впервые встретил в Париже, но не помню при каких обстоятельствах. Мы стали близкими друзьями. Я считаю его великим художником. Знал сына Матисса Пьера: он открыл в Нью-Йорке картинную галерею, но никогда не встречался со стариком. Много позже, на Майорке, у меня произошла короткая встреча с Миро. А потом в моей жизни появился Сутин, живший в доме справа от меня на Вилле Сера. К этому времени он покончил с богемным образом жизни. Страдал болезнью желудка и печени и еще кучей всяких болячек и жил затворником. Время от времени я заходил к нему одолжить нож с вилкой или соль с перцем. Иногда он поднимался ко мне, когда у меня собиралась компания. Он был помешан на Рембрандте, которого боготворил.

На самом деле я никогда не собирался жить в Париже. В 1930

году я уехал из Нью-Йорка с намерением отправиться в Испанию, но доехал до нее лишь много лет спустя. Нет, у меня и в мыслях не было жить в Париже. Я побывал там двумя годами раньше, и меня это не очень впечатлило. Думаю, в каком бы городе вы ни жили, если вы претерпеваете глубокие лишения и не в состоянии что-либо изменить, то учитесь тому, как примириться с ситуацией. А потом открываете для себя удивительные особенности этого города. Так и я среди нищеты и страданий действительно открыл для себя Париж, истинный французский характер и еще много всего, о чем неизменно вспоминаю с благодарностью.

Некоторые люди с трудом понимают, как можно наслаждаться жизнью без гроша за душой. Тем не менее, думаю, что это самый значительный факт моей биографии, когда я остался один, безо всякой поддержки, когда помощи ждать неоткуда. Приходится каждый день обеспечивать себя, изо дня в день учиться жизни. Разумеется, ты страдаешь и чувствуешь себя обездоленным, но это так интересно и так тебя захватывает, что ты полон жизненных сил. Живешь инстинктами на уровне животного. Таким сверхцивилизованным людям, как мы, очень полезно побывать в роли хищной птицы или зверя, каждый раз с жадностью набрасывающихся на еду, просящих милостыню, то и дело унижаемых подачками, которыми поманят да и бросят. Каждый день надеешься на чудо.

За французское издание «Тропика Рака» я получил весьма скромную сумму. Сначала спрос на него был невелик. Только со входом войск союзников его начали распродавать большими партиями. К тому времени умер Джек Кахане. Умер в тот день, когда объявили войну. Его семнадцатилетний сын Морис принял на себя дела фирмы. Он не смог прислать деньги во время войны — денежные переводы запрещались. Мы были также лишены возможности переписываться, но через несколько месяцев после окончания войны я получил от Мориса письмо. Я много раз рассказывал эту историю — как я жил на берегу океана в маленькой хижине, которую снимал за 7 долларов в месяц. В одной из лачуг для заключенных. И вдруг приходит это письмо с уведомлением, что мне причитается примерно 40 тысяч долларов авторского гонорара, с просьбой приехать за ним, поскольку по-прежнему невозможно его переслать. Но я не поехал. У меня уже испортились отношения с женой и я подумал, что не стоит ехать в Париж после столь длительного перерыва с человеком, чуждым мне по духу. Такой случай еще представится, сказал я себе. Деньги никуда не денутся.

Между тем мой хороший приятель, тогдашний генеральный

консул в Лос-Анджелесе Рауль Бертран услышал об этой ситуации и пообещал это дело провентилировать. В конечном итоге я получил часть денег, и мне хватило их на дом в Биг Суре, который по-прежнему является моей собственностью.

Вернувшись из Парижа, я узнал о смертельной болезни отца. Он медленно умирал от рака предстательной железы. Я приехал из Европы таким же нищим, как и уезжал. Думал, что у матери нет денег, но позже узнал, что она кое-что скопила. Она никогда не говорила мне об этом и всегда вела себя так, словно у них за душой нет ни гроша. Например, не разрешала отцу покупать даже сигареты; утверждала, что это вредит его здоровью. Представьте себе: человек умирает от рака, что-то может это изменить? Мне приходилось проносить их тайком. В период, когда отец умирал, я действительно узнал его лучше, чем когда-либо. Мы полностью понимали друг друга. У него было много друзей: все отзывались о нем очень тепло.

Затем пришло время отправиться в путешествие, которое в последствие превратилось в «Кошмар в кондиционированном воздухе». Я рискнул принять на себя обязательство. Эйб Раттнер, мой друг — художник из Парижа, составил мне компанию. «Даблдей» согласился издать книгу. В Начезе, штат Миссисипи, я получил телеграмму, что отец при смерти. Я тут же сел в самолет, но прилетел в Нью-Йорк слишком поздно. Он умер в еврейском госпитале. Все наши семейные врачи поумирали, и матери пришлось обратиться к доктору-еврею. Мать ужасала мысль о том, что ему придется умирать в еврейском госпитале. Как оказалось, умер он умиротворенным. В последние минуты жизни, он рассказывал сиделкам о том, какой я замечательный сын, что было абсолютной неправдой.

Я впервые столкнулся со смертью, увидев в канаве мертвую кошку. Тогда мне было лет пять. На самом деле это было мое первое серьезное потрясение — увидеть уже гниющий окостеневший труп. А еще помню, как, выздоравливая, сидел у окна и наблюдал, как мягко падает снег, и пальцем выводил узоры на покрытом инеем оконном стекле.

Смерть. Она интриговала меня, поскольку последние десять лет я остро сознаю, что однажды умру. Прежде я почти никогда не задумывался о собственной смерти. Что я чувствую? Что думаю об этом? Что ж, никто ничего не знает о смерти! Полная пустота. Никто еще не воскресал из мертвых. Я так сильно люблю жизнь, что мне трудно себе представить, как я с ней расстанусь. Смерть я рассматриваю как переход из одной формы существования в другую. Может быть, происходит перевоплощение, но, если это так, не думаю, что оно

соответствует нашим представлениям о нем. То, что мы видим, — превращение. Мы не видим исчезновения. Одно переходит в другое. У меня нет страха перед смертью. Порой я даже зову ее. Иногда, лежа в постели, прекрасно себя чувствуя, говорю: «Сейчас пришло время умереть. Я чувствую себя превосходно, я полон сил. Пусть приходит сейчас. Я готов к встрече с ней». Так что должен относиться к ней как к случайному соседу в зале ожидания. Помните, что святой Франциск, умирая, сказал: «Братец Смерть, я о тебе всё забыл. Должен написать стихотворение в честь Братца Смерти». Какой замечательный путь к смерти! Что-то в этом духе чувствую и я.

Детство

Тем не менее, десятилетними мальчишками мы собирались где-нибудь на задворках и давали девчонке пенни, намереваясь ее трахнуть. Делали вид. Было щекотно и приятно.

Я хорошо помню себя в любом возрасте. Период от года до девяти запомнился мне как «рай». Тогда мы жили в старом районе Бруклина, Уильямсберге. На стыке двух веков, в 1900 году, мы переехали в другой район. Мне как раз исполнилось десять. Жили на улице «ранней скорби», как я ее прозвал, в населенном немецкими иммигрантами квартале в округе Бушвик. Я ходил в среднюю школу.

Я запомнил этот период главным образом потому, что мне пришлось встретиться с целой ватагой ребят и поладить с ними. У меня произошла с ними стычка, поскольку поначалу они пытались превратить меня в козла отпущения. Тем не менее вскоре я стал их лидером. Когда я впервые прошелся по улице, кто-то из них положил мне на плечо деревяшку. Тогда у ребятишек была такая игра: тебе на плечо кладут деревяшку, и ты обязан к кому-нибудь обратиться, чтобы ее сбросили. Если этого не делаешь, тебя бьют. Драться я отказался, что сочли страшной трусостью. Я объяснил, что знать их не знаю, ничего против них не имею и не вижу повода к драке.

В нашем районе была пресвитерианская церковь, куда я ходил, поскольку при ней создали юношескую военную бригаду. Она называлась «Батарея А береговой артиллерии». Мы одевались в форму, обучались приемам стрельбы, и в конце концов я поднялся от рядового до младшего лейтенанта. Здесь занимались мальчишки в возрасте от десяти до четырнадцати лет. В то время эти подростковые отряды создавались при нескольких церквах. Я ходил в церковь исключительно по этой причине. На проповеди мне было наплевать. Такова, была единственная религиозная организация, к которой я когда-либо принадлежал.

Улицы были всё еще вымощены булыжником, а автомобиль был новшеством. Помню удивительные осенние дни, когда мы собирались на пустыре и рыли пещеры. Иногда стреляли по воробьям и жарили их на костре. У меня был «винчестер» 22 колибра. У большинства мальчишек — винтовки. По поводу оружия ограничений не было, и люди им не злоупотребляли.

Вслед за девчонками мы залезали в подвал и подсматривали за тем, как они писают. Достанет ли струйка до потолка? Что-то вроде этого. Но мы с ними не трахались. Тем не менее, еще десятилетними мальчишками мы собирались на задворках и давали девчонке пенни, намереваясь ее трахнуть. Делали вид. Было щекотно и приятно.

Помню и это; в те дни я многому научился. Получил на пустыре прекрасный инструктаж. В нашей компании был один толстяк по имени Льюис. Он был постарше нас. И часто рассказывал удивительные истории, легенды, мифы, сказки о сверхъестественных силах. От этого парня я почерпнул больше, чем из школы. Мы разговаривали обо всем. Мы были любознательны. А сегодня ребятишки, похоже, скучают, не знают, чем заняться. Мы задавались такими вопросами как: «Кто создал Бога? Откуда взялась дева Мария?» И всё в таком духе.

Когда я в конце концов сдал выпускные экзамены в средней школе, тогда мне было лет семнадцать, мы организовали клуб «Мыслители». Название было ироническим. Среди нас был один парень — страшный молчун, а на самом деле — бестолковщина. Но всегда делали вид, что он великий мудрец, поскольку чаще всего он помалкивал. Безусловно, все мы отдавали отчет в том, что он просто дурак. Отсюда и название — «Мыслители». Затем появилась еще одна группка в другом районе Бруклина — Гринпойнте. Мы дружили между собой и решили объединиться. Создали клуб из двенадцати членов и назвали его «Обществом Ксеркс». Общество ничем не занималось и название ровно ничего не означало. Это был всего-навсего предлог для наших встреч. Все мы закончили среднюю школу, и ни один не пошел в колледж. Все музицировали: один играл на фортепиано, другой — на скрипке, а кто-то хорошо пел. Раз в две недели мы собирались у кого-нибудь дома и всю ночь играли и пели. Представьте себе, как это непохоже на сегодняшний день! Так продолжалось года два-три. У нас не было далеко идущих амбиций, и мы относились друг к другу бескорыстно и с большой теплотой. Родители обеспечивали нас едой и выпивкой, когда мы собирались у кого-то дома.

Тогда мы не нуждались в компании девушек. Время от времени устраивали большие вечеринки и играли в почту, что означало уединиться с девчонкой в темной передней и поцеловаться. Ни у кого из нас тогда не было с девушками близких отношений. Я должен это пояснить. Кажется странным, что в это время я не занимался любовью, но причина в том, что я был безумно, страстно влюблен в свою одноклассницу. Однако у нас никогда не было близости.

Так продолжалось три года! И это было великолепно. Каждый вечер после ужина я шел к ее дому и возвращался назад. До ее дома я доходил почти за час лишь для того, чтобы пройти мимо в надежде, что в этот момент она случайно окажется у окна. Это было сумасшествие, глупость, идиотство, продлившееся три года. Для меня не существовало других женщин, мне это и в голову не приходило. Я думал только о ней. И не представлял себе близости с ней, поскольку преклонялся перед ней.

Приблизительно в это время я три-четыре раза переспал с проститутками. Вообще-то на последнем году учебы в школе я впервые посетил публичный дом и тут же подхватил триппер. Этот бордель находился на 34-стрит, к западу от Херальд-сквер. Эта улица была рассадником публичных домов, где в основном работали француженки. Позже я снова побывал в этом квартале, но пошел уже в другой бордель. И мне как всегда не повезло: я заразился еще раз. Я переболел им два или три раза.

Когда нам было по 18–19 лет, мы придумали для себя это общество «Ксеркс» и развлекались как дети. До 25 лет я играл на фортепиано. Женился на девушке, обучавшей меня игре на рояле. На этом учебе пришел конец. Душой компании были два-три человека. Впоследствии забавно было об этом вспоминать. Среди нас были бездельники, активисты, балагуры, честолюбцы. Сейчас я вижу всю эту градацию очень четко. Мы с одним парнем играли роль клоунов, поддерживающих веселье. Энтузиазм присутствующих спадал, фантазия истощалась — все засыпали. Нам с приятелем так хотелось расшевелить компанию, что мы практически вставали на голову, чтобы вывести своих друзей из сонного состояния. Разыгрывали нечто вроде эстрадного представления: танцевали джигу, пели, рассказывали анекдоты, пародии, все, что угодно, лишь бы расшевелить уставшую компанию. Как наивно все это выглядит сейчас.

В восемнадцать лет я пошел работать клерком в Атлас Портлэнд Симэнт Компани. Это было мое первое место работы после школы. После работы я давал уроки музыки за 35 центов в час. В доме у одной маленькой ученицы познакомился с одной интересной вдовой, подругой матери моей ученицы. Так начался мой первый роман. Он не был лишен романтики, но, безусловно, был полной противоположностью моей первой целомудренной любви. Но к этой женщине, которая была намного старше меня, я испытывал большое чувство. Мы счастливо прожили вместе какое-то время, я даже перевез к ней взятое напрокат пианино. Тогда мне было девятнадцать лет.

По странному стечению обстоятельств моя прежняя возлюбленная жила напротив вдовы. Она уже вышла замуж и

теперь обитала на противоположной стороне улицы. Конечно, узнал я об этом не сразу.

После школы я шесть недель проучился в Нью-йоркском муниципальном колледже. Что меня доконало, так это «Королева фей» Спенсера. Я заявил, что лучше уйду, чем буду читать подобную ересь. Потом, спустя почти два года, я решил стать инструктором физкультуры. Посещал Школу борьбы Сарджента, что на площади Колумба. Курс был рассчитан на четыре года, но меня не хватило надолго, поскольку отец пил и мать умоляла меня пойти работать к нему, чтобы оградить его от пьянства.

В это время я был в превосходной физической форме. Помешался на своем здоровье и физических упражнениях. Каждый вечер делал зарядку. Стал заядлым велосипедистом. Катался на двухколесном гоночном велосипеде, купленном у гонщиков на Мэдисон-сквер-гарден после шестидневного велокросса. Я частенько задавал им темп во время гонок. Для меня это было развлечение, а они использовали меня, поскольку я был молод, имел здоровое сердце и не задумывался о том, что могу убиться. Ведь не так-то просто задавать темп велокросса. Эти гонки проходили на живописной гравиевой дорожке из Проспект-парк до Кони-Айлэнд. Шесть миль туда и шесть — обратно.

В определенном смысле в это время на меня оказали влияние другие спортивные фанаты — такие, как Чарлз Этлэс и Бернард Мэк-Фэдден. Я — хиляк, но во мне кипела энергия. Затем наступал период увлечения спортивной борьбой, когда я ходил на встречи по борьбе, чтобы увидеть таких борцов, как Джим Лондос, Человек с тысячью ухваток и Душитель Льюис. Ходил я и на встречи по боксу. Джек Джонсон, Стэнли Кэтчел — я часто бывал на их тренировках. Никогда не видел Джека Джонсона на ринге, но встретил его много лет спустя, а точнее — спустя сорок лет. Он держал небольшой бар на рю Фонтэн в Париже. Даже тогда он, по-моему, все еще был в великолепной форме. Не выглядел опустившимся человеком. Представляете себе его массивную, величественную голову? На стене моей ванной комнаты висит его сегодняшняя фотография. Он был моим кумиром.

Затем пешие прогулки… Я выходил на эстакаде, на остановке Дэлэнси-стрит. Оттуда шел до Пятой авеню и 31 стрит. Это была отличная, почти часовая прогулка. Все это время я казнился тем, что я — писатель, так никогда ничего и не написавший. Лишь однажды я предпринял такого рода попытку. Написал огрызком карандаша полстраницы и бросил. Решил, что никогда не смогу стать писателем. Однако это копилось внутри меня; во время

своих прогулок я сочинял всякие истории и новеллы, наполнял их характерами и диалогами. Мне хватило бы материала на несколько книг. Я говорю о том периоде, когда я работал у отца в ателье.

По дороге в ателье я останавливался перед определенной витриной магазина, торгующего рамами для картин, где я впервые увидел японские гравюры. И репродукции Шагала, Утрилло и Матисса. Вот с чего начался мой интерес к живописи. Все это время я неустанно говорил себе, что из меня никогда не получится писатель. Но перечитал книги всех писателей того времени. Например, мне запомнился Джон Дос Пассос, тогда уже довольно известный. Вероятно, мы были сверстниками, а у него уже было имя. Он участвовал в войне и написал об этом книгу. Читая ее, я говорил себе: «Господи, да ведь я могу писать ничуть не хуже», — но так никогда и не попытался.

Мое настоящее образование началось, когда я ушел из колледжа. Я начал читать те книги, которые мне были интересны, которые утоляли мою жажду знаний. Тогда мне хотелось узнать все обо всем. Я перечитал массу всевозможных книг — о философии, экономике, религии, антропологии, о чем угодно.

Я буквально раздваивался. С одной стороны, мне страшно хотелось заниматься спортом, а с другой — тянуло к литературе. Я читал постоянно и всегда выбирал фолианты поувесистей. Для своих приятелей я был фигурой загадочной. Участвовал во всех соревнованиях, но они не конкурировали со мной. Держали меня за чудака. В конечном счете я от них отошел.

Еще ребенком родители отправили меня в воскресную церковную школу. На самом деле они не были верующими. По вероисповеданию они были — лютеранами, но я не имел ни малейшего представления о том, как выглядит внутри лютеранская церковь. Родители никогда не говорили о религии. Никогда не ходили в церковь. И у меня никогда не возникало такого желания.

Обычно во время воскресной проповеди я умирал от скуки. Время от времени читать проповедь священник приглашал кого-нибудь из другого прихода. Помню одно воскресенье, когда я вернулся домой из церкви, возбужденный словами проповедника о социализме. В те дни быть социалистом — означало быть настоящим радикалом. Я вернулся из церкви и рассказал родителям об этом удивительном проповеднике. Услышав слово «социализм», отец чуть не дал мне затрещину. Он сказал: «Больше никогда не произноси это слово в нашем доме». Видите ли, отец отличался от деда. Тот придерживался более радикальных взглядов. Он бежал из Германии, чтобы избежать военной

службы. Приехал в Лондон и десять лет проработал в суде. Потом стал профсоюзным деятелем и оставался им всю жизнь. Но отец стал владельцем ателье, и в этом заключалась вся разница между ними.

Уже в 21 год я дошел до состояния полного отчаяния. Сижу как-то в парке на Юнион-сквер, в Нью-Йорке. Вижу большую вывеску «Френология». В кармане — только доллар. Объявление гласит, что цена одного визита — доллар. Я встаю и иду удостовериться в своих возможностях. Френолог, пожилая дама, щупает мою голову — и каково же ее заключение? — «Из вас может получиться отличный юрисконсульт». Я ушел от нее с чувством полного отвращения и уныния. Надеялся, что она скажет: «Из вас выйдет художник, литератор». Я не знал, куда податься, к кому обратиться. Не хватало смелости постучаться в дверь к какому-нибудь великому человеку и спросить у него совета.

Я часто ходил на лекции Джона Каупера Поуиса в Лэйбор-Темпл, в Нью-Йорке, что стоило десять центов. Это был очень образованный человек и замечательный писатель. С лицом пророка. Впоследствии, спустя почти сорок лет, я нанес ему визит в Уэльсе. И пересказал его слова, сказанные мне на одной из лекций в те далекие времена. Тогда я был очень робок и неуклюж. Подошел к нему после лекции и не нашел ничего лучшего, как спросить, читал ли он Кнута Гамсуна. Он ответил: «Вы имеете в виду Кнута Гамсуна, норвежского писателя? Нет, извините, не читал. Видите ли, я не знаю норвежского». Встретившись с ним в Уэльсе, я рассказал ему об этом, и он сказал: «Генри, какой же я был мерзавец! Почему ты не дал мне хорошенько под зад»? Его книги оказали на меня большое влияние.

В не меньшей степени на меня повлиял бывший евангелист Бенджамен Фэй Милз. Обычно он читал лекции на всевозможные темы. К примеру, о Фрейде, тогда мало известном широкой публике. Он вел спецгруппы, курс обучения стоил 100 долларов. Когда он объявил о создании этих спецгрупп, я сказал: «У меня нет денег, но если кто и достоин учиться на ваших курсах, так это я». Он посмотрел на меня и сказал: «Полагаю, вы, вероятно, правы. Если вы пустите тарелку по кругу после лекций, я разрешу вам посещать курсы бесплатно».

Ко многим таким людям я бы позвонил в дверь и задал бы несколько вопросов, как делают сейчас мои поклонники. К сожалению, большинство из них я вынужден выпроваживать восвояси. Поначалу я чувствовал себя виноватым, если не выслушивал их, но сегодня мне кажется, что, реагируя таким образом, на самом деле оказывал им услугу. Подростки задают

всевозможные вопросы, часто заумные и ставящие в тупик. В итоге я обнаружил, что трачу на них время и внимание, а толку никакого. Я считаю, что давать советы — бесполезная затея. До всего нужно доходить самому. Звучит жестоко, но по существу так оно и есть.

Чтобы начать все с начала, нужно дойти до последней точки. Бог вас не защитит. В конечном счете вы вернетесь к самому себе. На что бы вы ни решились, это вам придется что-то предпринимать. Поступайте так, как вы считаете нужным, и не пытайтесь следовать чьему бы то ни было примеру, поскольку он имел успех. Вы человек другого склада. Вы — это вы. Вы — единственный в своем роде, и у каждого человека своя судьба. Мы можем сколько угодно учиться, слушать величайших учителей и т. д., но наши поступки, наши достижения определяются нашим характером.

Можно превратить зло в добро, кривду в правду. Всегда остается такая возможность. Мир был бы крайне неинтересен, если бы все оставалось таким, как представляется. Я действительно верю в превращение. К примеру, двух людей сажают в тюрьму. Один пребывает в полном отчаянии, освободившись, он может снова совершить убийство. В другом — произойдут некие внутренние перемены и он выйдет на свободу совсем другим человеком.

Мне 21 год, и я все еще живу у вдовы, но мне не терпится от нее вырваться. Я сознавал, что она намного старше меня, и от этого мучился. Представлял себе, как ей стукнет пятьдесят, а мне только двадцать пять. И сбежал в Калифорнию. Нанялся рабочим на ранчо в Отэй, а потом на шесть месяцев — в Чула Виста. Я выжигал кустарники во фруктовом саду, и среди рабочих нашлись ковбои, с которыми я подружился. Одним из них оказался парень из Монтаны, и мы с ним стали большими друзьями. Однажды он зазвал меня в небольшой мексиканский бордель в Сан-Диего. Туда ходил трамвай, такой же как Тоунервильский. По пути в бордель я увидел афиши, гласящие, что Эмма Голдман читает лекции о Ницше, Достоевском, Ибсене и т. д. Это сыграло решающую роль в моей жизни. Я отправился на эти лекции. После нескольких посещений пришел к выводу, что жизнь ковбоя не для меня. Ведь я решил стать ковбоем. Представляете! Так что я вернулся домой и стал работать у отца.

Пока я трудился в ателье, у нас с отцом были довольно прохладные отношения. Мать надеялась, что я буду препятствовать его выпивкам, следить за ним и все такое, но это было мне не под силу. Он надоедал мне, изводил меня своими ежедневными пьянками. Уже позже, когда я женился во второй

раз и столкнулся со всевозможными финансовыми трудностями, я обратился к отцу за помощью. Он верил в то, чем я занимался, хотя никогда не прочел ни одной сочиненной мною строчки.

Работая у отца, я женился — в первый раз — и у нас родился ребенок. Ночами я просиживал за большим письменным столом, принесенным из ателье. Оттуда же я утянул и огромный, круглый обеденный, вокруг которого могли бы усесться двенадцать человек. Он был полностью красного дерева, великолепный стол, и я часто садился за него и пытался писать. Конечно, безуспешно.

Я не виделся с вдовушкой с тех пор, как уехал на Запад. Я удрал от нее, и она не знала, где меня искать. Однажды вечером я пошел в кино и наткнулся на нее, она работала билетершей. Освещая дорогу фонариком, проводила меня до моего места, присела рядом и зарыдала. «Гарри, — она всегда называла меня Гарри, — как ты мог так поступить с мной?» Я рассказал жене об этой встрече — она была в курсе нашего романа — и предложил поселить ее в нашем доме. Естественно, жена этого не допустила. Но, право же, я был искренен. Я не шутил. Это была одна из тех невероятных ситуаций, которую мог себе вообразить лишь такой дурак, как я.

Полагаю, нет ничего невозможного в том, чтобы мужчина заботился сразу о нескольких женщинах. Да, при условии, что заинтересованные стороны полностью осознают, для чего им это нужно. При первобытно-общинном строе так оно и было, особенно в тех случаях, когда существовал недостаток мужчин или женщин. Мой друг думает, что мужчине следует опекать столько женщин, скольким он способен доставить радость. Но тогда возникают экономические проблемы, разве не так?

Я никогда не распространялся об отце. Он каждый день напивался. Обычно заходил в бар напротив примерно в полдень, чтобы пропустить первую рюмку. Кстати, это был замечательный бар в Уолкотт отеле. Отец ждал, пока я повзрослею и приму на себя ведение дел. Он приглашал меня в отель позавтракать с ним и его собутыльниками. Я участвовал в пиршествах, но никогда не брал в рот ни капли. В то время я вообще не выпивал. Был противником всякой выпивки. Сидел с ним в баре, а все его приятели смеялись и подшучивали надо мной. «Генри, — говорили они, — что ты сегодня пьешь?» А я отвечал: «Воду». Тогда они хохотали. Я, естественно, свирепел.

Помню, однажды я подрался с одним французом, оскорбившим отца, поскольку тот напился. Как только он не обзывал его. Я подошел и вцепился в него. Вся компания была пьяна, и для меня это была лишь кучка забулдыг. Я был в прекрасной физической форме и, схватив его за горло, протащил

по бару. Потом повалил на пол и начал душить. Им пришлось отдирать мои руки от его шеи. Я чуть не задушил его. Рассказываю эту короткую историю, чтобы вы поняли, каким я могу быть жестоким. Я боюсь рассердиться, поэтому столь любезен и миролюбив. Когда я перестаю владеть собой, то вхожу в раж.

Я должен был научиться кроить и все такое, но так никогда и не научился. Вместо этого частенько стоял за столом закройщика и часами болтал с ним, пока отец напивался в баре. Заказчики заглядывали крайне редко.

Этот закройщик был евреем-иммигрантом из Польши, я его очень любил. Я упоминаю о нем в своих книгах. Мы стояли и беседовали, пока он чертил и вырезал выкройки. Он должен был обучить меня, но я так ничему и не научился. Он интересовался литературой. Хорошо знал русскую и еврейскую литературу. Поведал мне обо всех европейских гетто, фольклоре, каббалистике и т. п. Беседуя часами, мы вникали во всевозможные явления. Иногда я уходил в другую комнату, так называемую починочную. Там работали три еврея, вызывающие у меня большой интерес. Один из них был оперным певцом. Я распахивал окна, чтобы его слышали соседи. И говорил: «А сейчас, Рубен, начни с „Паяцев“ или с „Бориса Годунова“». Ну и голос! Порой мне казалось, что он мог петь лучше Карузо. Из всех окон доносились аплодисменты. «Еще! Еще!» — и если случайно приходил пьяный отец или заказчик, они удивлялись, что, черт побери, происходит.

Безусловно, наши дела шли неважно. Мы вылетели в трубу. Самое удивительное, что когда ателье окончательно развалилось, и отец остался без гроша, эти славные еврейские портные, работающие у него, предложили оплатить его же долги; были готовы заложить свои вещи, отдать ему свои сбережения и т. д. Я убедил их не делать этого, было уже слишком поздно. Но какие это были замечательные люди. Меня это потрясло.

В ателье я познакомился с одним из самых известных писателей того времени. Однажды из лифта вышел ни кто иной, как Фрэнк Хэррис. Его привел Гвидо Бруно, в ту пору важная шишка в Гринвич-Виллидж. Бруно был выходцем из Югославии и владельцем журнала, выходящего в Виллидже. Он обнаружил, что Фрэнк Хэррис живет на Вашингтон-сквер. Фрэнку Хэррису понадобилось что-то сшить. Безусловно, отец никогда о нем не слышал, а я прочел несколько его книг, и мне до смерти хотелось его увидеть. Отцу не часто приходилось иметь дело с писателями и художниками, если не считать карикатуриста Робинсона. Художников отец презирал. Он считал их всех чокнутыми,

безденежными, безответственными. Фрэнк Хэррим хотел, чтобы ему сшили летний нарядный костюм для прогулок на яхте. Отец показывает ему какой-то материал в широкую полоску — нечто такое, во что одеваются лишь джазисты. Фрэнк Хэррис расхохотался и спросил:

«Неужели вы хотите, чтобы я нарядился в подобные брюки?» А отец ответил: «Почему бы и нет? Вы писатель, представитель богемы. Можете носить что угодно».

Фрэнк Хэррис был поистинне замечательным человеком. Он быстро обнаружил работающих в дальней комнате портняжек и заметил, что раскройщик — личность весьма незаурядная. Он заговаривал о еврейской литературе, Шекспире, Библии, Оскаре Уайлде. Беседовал с портняжками совершенно на равных. Потом они мне сказали: «Кто этот человек? Должно быть, это удивительный, замечательный человек!»

Обычно я помогал Фрэнку Хэррису надевать брюки, когда он приходил на примерку. На нем никогда не было никакого нижнего белья, что отец считал эксцентричностью. Часто после рабочего дня я был мальчиком на посылках. Как-то раз отец поручил мне отнести ему костюм.

Когда я пришел к нему домой, то застал своего любимого писателя в постели с женщиной. Я хотел ретироваться, но он настоял на том, чтобы примерить костюм. Выпрыгнул из постели абсолютно голый и примерил брюки.

Я рассказал ему про свое сочинительство, и впоследствии он опубликовал один из моих рассказов в издавна известном журнале «Персонз», который он издавал. Позже, когда я приехал в Париж, Фрэнк Хэррис пригласил меня пожить в своем доме в Ницце — бесплатно. Я так и не воспользовался его приглашением. Но как любезно это было с его стороны!

Всё, что я вынес для себя из работы в ателье за эти два, три или четыре года, свелось к умению на ощупь определять шерстяные и шелковые ткани и нескольким встречам с Фрэнком Хэррисом. Я хорошо определяю ткани на ощупь. И знаю, как подобающим образом должен сидеть костюм. Но это почти всё.

Родившись в Бруклине, в семье, не имеющей ни малейшего отношения к искусству, мне было негде встретить творческую личность. Я жаждал встречи с каким-нибудь образованным человеком. Для меня стать писателем было все равно что сказать: «Я собираюсь стать святым, мучеником, Богом». Это было так же трудно, так же головокружительно, так же маловероятно. Годами я осмеливался лишь мечтать об этом. Я даже не задумывался о том, хватит ли у меня способностей: я хотел стать писателем и только писателем. Но прежде перепробовал уйму других

профессий.

Работал кондуктором трамвая, мусорщиком, библиотекарем, страховым агентом, продавцом книг. Служил на телеграфе. Меня просто уволили с одной перспективной должности, которую я занимал в торгово-посылочной фирме. Меня назначили помощником заведующего отделом. Я проработал всего месяц. Мой начальник во мне души не чаял. Был любителем и знатоком литературы. Я не написал ни строчки, но он что-то во мне почувствовал. Я настолько быстро справлялся со своими обязанностями, что у меня не оставалось почти никакой работы. Передо мной лежал открытый «Антихрист» Ницше, которым я тогда увлекался, и я выписывал из него цитаты, когда ко мне вдруг подошел вице-президент, заглянул мне через плечо и спросил:

«Очень интересно, а каким образом это связано с вашей работой?» Я был пойман с поличным и уволен.

Я был женат, имел дочь, был главой семьи и с отчаяния пошел наниматься курьером в компанию «Вестерн Юнион». Мне почти — 28 лет. Я прошу принять меня на должность курьера, и мне отказывают. Это привело меня в такую ярость, что не мог заснуть. На следующее утро я встал и отправился на прием к президенту компании. Меня отослали в контору вице-президента. Я спрашиваю себя:

«Почему, почему я не могу получить самую что ни на есть низкооплачиваемую работу, место курьера?»

В конечном счете меня отослали к главному администратору, который слушал меня около часа, и вместо того, чтобы предложить мне место курьера, сказал: «Мистер Миллер, почему бы вам не возглавить отдел кадров и не стать администратором по найму? Но сначала, чтобы набраться опыта, наденьте форму и поработайте курьером, а я буду перебрасывать вас из отделения в отделение с зарплатой администратора по найму. Об этом не будет знать никто кроме нас двоих, но вы будете работать как администратор». Таким образом я ходил из одного отделения в другое и носился с места на место. Тогда я узнал жизнь. По правде сказать, я еле выдерживал. На улице была зима, кругом снег и лед. В первый вечер я плелся домой так, словно в ступни ног впивались осколки стекла. А во сне стонал от боли.

Я промучился в ранге администратора по найму четыре с половиной года. После выполнения дневной работы я ужинал с детективом компании. Он приходил, когда контора закрывалась, и мы с ним отправлялись проверять почтовые отделения в поисках маленьких мошенников и бродяг. Мы носились по всем углам и закоулкам Нью-Йорка: Бауэри, Ист-Сайд, Уэст-Сайд,

Гарлем, повсюду. Знал его как свои пять пальцев. Каждое утро я должен был являться на работу в восемь. Я редко приходил вовремя. Но когда появлялся в приемной, меня уже ждала целая толпа безработных. Я редко ложился спать раньше двух часов, а иногда трех или четырех часов утра. В те годы я работал минимум за троих.

Безусловно, я многое почерпнул для себя о человеческой натуре, в особенности о мальчишках. В основном мы имели дело с детьми трущоб, с бродяжками. Среди них попадались удивительные экземпляры. Большинство были мошенниками, но это меня мало волновало. Но они были великими лгунами, многие из них. Почти все дети любят приврать. Самыми отъявленными лжецами всегда оказывались самые смазливые и воспитанные. Вечерами я часто ходил по домам, чтобы выяснить, что к чему. Ребятишки умоляли дать им работу, утверждая, что дома нечего есть, отец болен, то да сё, и я приходил к ним домой. Потом я попытался привлечь к ним внимание благотворительных организаций. Им нужна целая вечность, чтобы что-то предпринять. В результате я платил из собственного кармана, чтобы их поддержать. Часто занимал у своих коллег по работе. Не вылезал из долгов. Задолжал всему свету, пытаясь помочь этим ребятишкам.

Я еще не дошел до того предела, когда решился изменить свою жизнь. Этому предшествовало множество событий. Во-первых, я влюбился в молодую женщину, с которой познакомился в дансинге на Бродвее, жена застала нас в постели и подала на развод. Так мы с Джун стали жить вместе. Живя с ней, я бросил работу. Она все время говорила: «Послушай, брось ты эту работу. Начни писать». Она подталкивала меня к этому.

Однажды я пришел в отделение, собрал все свои пожитки, сложил их в портфель и сказал своему помощнику: «Скажи боссу, что я ухожу прямо сейчас и не нуждаюсь в своем двухнедельном жаловании». В отделении было полно нанимающихся на работу мальчишек; там всегда толпилось 50–60 ребятишек. Это был сущий ад. В тот день я шел и ощущал себя свободным человеком. Неспешно прошелся по Бродвею, это было около десяти часов утра, наблюдая за всеми теми беднягами с портфелями под мышкой, — ходатаями, продавцами, покупателями, просителями и вымогателями. Я сказал: «Нет, это не для меня. Никогда не буду этим заниматься. Впредь собираюсь стать писателем, при этом или выживу или умру».

Это благодаря Джун, новой жене, я отважился принять такое решение и жить согласно ему. Она очень поддерживала меня, по-настоящему помогала мне. Она в меня верила. Потом начался

период, когда я действительно страдал и голодал, пока не вышла моя первая книга.

Обычно моя влюбленность в одну женщину длится лет семь. После развода с Джун я стал вести более беспорядочную жизнь. Но при нашей совместной жизни я никогда ей не изменял. Я был настолько ею поглощен, был с нею настолько счастлив, особенно в интимных отношениях, что меня не тянуло к другим женщинам.

Но затем начался десятилетний период нищеты, мучительных попыток продать свои сочинения. Желание писать зрело во мне довольно давно. Но дело в том, что я не был уверен в своих способностях. Абсолютно не был уверен. Решил сначала поупражняться. Писал о том, что мне было интересно — о людях и событиях. Отправился знакомиться с издателями. Побывал у доктора Визетелли, редактора Словаря Фанка и Вэгнэлла. Написал статью — длинную, прекрасную статью об изречениях — и продал ее в «Либерти», пятицентовый журнальчик. Там остались мною довольны. Чуть не взяли меня на должность младшего редактора. И заплатили мне долларов триста — в те дни это была приличная сумма. Но так и не напечатали мою статью. Время от времени я об этом справлялся. — Она слишком хороша, — отвечали мне. Слишком хороша! Как вам это нравится? В конечном счете я ухватился за идею попытать счастья в таком журнале, как «Snappy Stories»[6] и ему подобных. Написал пару рассказов, у меня их не взяли, и я решил послать в редакцию красавицу-жену. Тогда они за них ухватились, продав два-три рассказа, я подумал, зачем ломать голову над новыми сюжетами? Взял предшествующие номера журналов, вырвал из них напечатанные рассказы, изменил начало и конец, имена героев и продал это им. Как и следовало ожидать, они с удовольствием приняли свою собственную галиматью. Таким образом я продал несколько рассказов.

Мы переехали в район Бруклинских высот на 91 Римсэн-стрит, где и началась наша семейная жизнь. Это было красивое местечко. Можно сказать, аристократическое. Мы жили на японский лад. Все должно быть эстетично. Мы жили так, словно у нас водились деньги; около четырех месяцев не платили за квартиру. Хозяин дома и его жена были уроженцами Виргинии. Однажды он постучал в дверь; я был один — и, предположительно, писал. Он спросил: «Мистер Миллер, могу я поговорить с вами? — И присел на кровать. — Мистер Миллер, вы знаете мою жену, а мне нравитесь вы и ваша жена. Но мне кажется, — сказал он, — вы в некотором роде мечтатель. Видите ли, мы не в состоянии держать вас у себя вечно. Нет необходимости платить за прошлое время. Мы знаем, что у вас

нет денег. Но не будете ли вы так любезны съехать в благоразумные сроки?» Что за очаровательный человек. Мне на самом деле стало не по себе. Я сказал ему, что, конечно же, заплачу за прошедшие месяцы. — Вы были так добры, — заметил я. Разумеется, я так и не заплатил. Жена больше не работала, а я ничего не продал.

Из-за крайней нищеты нам пришлось жить отдельно. Я поселился у своих родителей, она — у своих. Это было ужасно. Мать говорила: «Если кто-то зайдет, сосед или кто-нибудь из друзей, убирай машинку и прячься в туалет. Не надо, чтобы они знали, что ты здесь живешь». Иногда я простаивал в этом туалете около часа, задыхаясь от запаха камфарных шариков. Таким образом она хотела скрыть от соседей и родственников, что ее сын — писатель. Всю мою жизнь ей была крайне неприятна мысль о том, что я писатель. Она мечтала, чтобы я стал портным и возглавил ателье. Быть писателем было аналогично преступлению.

Даже самые ранние воспоминания о матери связаны с отрицательными эмоциями. Помню, как сидел на маленьком специальном стульчике на кухне у плиты и мы с ней разговаривали. Большей частью она брюзжала. У меня не осталось приятных воспоминаний о наших беседах. Как-то раз у нее на пальце выросла бородавка. Она спросила у меня: «Генри (учтите, мне было всего-навсего четыре года), что мне делать? — Я ответил: — Срежь ее ножницами». Бородавку! Не срезайте бородавки! Таким образом у нее начался сепсис. Через два дня она подошла ко мне с забинтованной рукой и сказала: «Ведь это ты сказал мне ее срезать!» И БАЦ, бац, шлёпает меня. Шлёпает меня! В наказание. За то, что я сказал ей это сделать! Как вам нравится такая мамаша?

Моя сестра родилась умственно отсталой, у нее был ум десятилетней девочки. В детстве она портила мне жизнь, поскольку я должен был ее защищать, когда мальчишки кричали: «Лоретта сумасшедшая, Лоретта сумасшедшая!» Они смеялись над ней, дергали за волосы, обзывали. Это было ужасно. Я всегда гонялся за этими мальчишками и дрался с ними.

Мать обращалась с ней как с рабыней. Я приехал в Бруклин на два-три месяца, когда мать умирала. Сестра превратилась в живые мощи. Она ходила по дому с ведрами и щетками, драила полы, терла стены и т. д. Полагаю, матери казалось целесообразным занимать ее домашней уборкой. Мне же это казалось жестокостью. Тем не менее всю жизнь мать терпела ее и, без сомнения, несла свой тяжелый крест.

Понимаете, сестра не ходила в школу, поскольку отставала в

развитии. Поэтому мать решила учить ее сама.

Мать была никудышной учительницей. Она была ужасна. Часто шпыняла *ее*, давала ей затрещины, приходила в ярость. «Сколько будет дважды два? — и моя сестра, не имевшая ни малейшего представления об ответе, отвечала: — Пять, нет — семь, нет — три». Полный абсурд. БАЦ. Еще один шлепок или затрещина. Потом мать поворачивалась ко мне и говорила: «Почему я должна нести этот крест? За что мне такое наказание? — Спрашивала меня, маленького мальчика. — За что Бог меня наказывает?» Вот такая это была женщина. Глупая? Намного хуже.

Соседи утверждали, что она меня любила. Говорили, что на самом деле она была ко мне привязана. Но я никогда не чувствовал с ее стороны тепла. Она ни разу меня не поцеловала, никогда не обняла. Не помню, чтобы когда-нибудь подошел и прижался к ней. Я не знал, что матери это делают, пока однажды не зашел к приятелю домой. Нам было по двенадцать лет. Мы пришли из школы, и я слышал, как его встретила мать. «Джекки, Джекки, — сказала она. — О, дорогой, как ты, как твои дела?» Она обняла и поцеловала его. Я ни разу в жизни не слышал такого обращения, даже такого тона. Это было для меня открытием. Конечно, в этом тупом немецком квартале жили большие любители муштры, действительно черствые люди. Мои одноклассники говорили мне, когда я заходил к ним домой: — Защити меня. Помоги. Если отец начнет меня бить, схвати что-нибудь и беги.

У нас с матерью не было близости и когда я вырос. Вернувшись из Европы после десятилетнего отсутствия, я увиделся с ней мельком. И мы не общались, пока она не заболела. Тогда я заехал к ней. Однако возникла все та же проблема — между нами не было ничего общего. Самое ужасное, что в это время она действительно умирала. (Понимаете, до этого я как-то раз приезжал к ней, когда предполагали, что она при смерти.) Через три месяца она скончалась. Это было для меня жуткое время. Каждый день я приходил ее проведать. Но даже умирая, она оставалась тем же непреклонным деспотом, диктующим, что я должен делать, и отказывающимся делать то, о чем просил ее я. Я говорил ей: «Пойми, ты лежишь. Тебе нельзя вставать». Я не говорил ей, что она умирает, но это подразумевалось. «Впервые в жизни я буду говорить тебе, что делать. Сейчас я отдаю распоряжения». Она приподнялась, подняла руку и погрозила мне пальцем: «Не выйдет, — выкрикнула она». Это на смертном-то одре, и мне пришлось силой опрокинуть ее на подушки. Через минуту я выбежал в коридор, плача как ребенок.

Иногда, лежа в постели, я говорю себе: «Ты примирился с миром. У тебя нет врагов. Нет людей тебе ненавистных. Неужели ты не можешь приукрасить образ матери? Может быть, ты завтра умрешь и встретишься с ней на том свете. *Что ты ей скажешь при встрече?*» Сейчас могу вам сказать, что последнее слово осталось за ней.

Когда мы ее хоронили, произошла странная вещь. Был морозный, холодный день, шел сильный снег. Гроб никак не могли опустить в могилу. Как будто она все еще нам противостояла. Даже в похоронном зале, где стоял гроб в течение шести дней до погребения, каждый раз, когда я склонялся над ней, один глаз приоткрывался и вперялся в меня.

1971

Основные даты жизни и творчества Г. Миллера (из книги «Моя жизнь и моя эпоха»)

1891 — 26 декабря родился в Нью-Йорке, в Йорквилльском округе Манхэттена. Родители — американцы немецкого происхождения. В том же году семья переехала в Бруклин.

1892–1900 Проживал на улицах Уильямсберга в Бруклине — в округе, получившем известность как Четырнадцатый.

1901–1900 Переехал на «улицу ранней скорби» (Декатур-стрит) в Бушвикском округе Бруклина.

1907 — Встретил свою первую любовь, Кору Сьюард, в средней школе Восточного округа Бруклина.

1909 — Поступил в Нью-йоркский муниципальный колледж и через два месяца оставил его, взбунтовавшись против методов обучения. Устроился на работу в финансовый отдел «Атлас Портлэнд Симэнт Компани», Нью-Йорк. Начался период суровой спортивной дисциплины, длившийся семь лет.

1910 — Начало романа с первой возлюбленной — Паолиной Шуто из Фобуса, штат Вирджиния, — женщиной, которая годилась мне в матери.

1913 — Путешествовал по Западу. Стремясь порвать с городской жизнью, нанимался работником на ранчо. В Сан-Диего познакомился с Эммой Голдман, знаменитой анархисткой; эта встреча перевернула всю мою жизнь.

1914 — Вернулся в Нью-Йорк, работал в ателье отца, стараясь взвалить бремя деловых обязанностей на служащих. Познакомился с Фрэнком Харрисом; это была моя первая встреча с большим писателем.

1917 — Женился на Беатрисе Сильвас Виккенс, пианистке из Бруклина.

1919 — Родилась дочь Барбара Сильвас, ныне известная как Барбара Сэндфорд.

1920 — Проработав несколько месяцев курьером, повышен до ранга администратора по найму в почтовом отделении компании «Вестерн Юнион» в Нью-Йорке.

1922 — Во время трехнедельного отпуска в «Вестерн Юнион» написал первую книгу «Подрезанные крылья».

1923 — Влюбился в Джун Эдит Смит, работавшую платной партнершей дансинга на Бродвее.

1924 — Ушел из «Вестерн Юнион», решив навсегда покончить

со службой и полностью отдаться писательскому делу. Развелся с первой женой и женился на Джун Смит.

1925 — Всерьез взялся за ремесло писателя, сопровождаемое полной нищетой. Обходя дом за домом, продавал сборник своих стихотворений в прозе «Меццо-тинто».

1927 — С женой Джун открыл бар-закусочную в Гринвич-Виллидж. Работал в управлении по садам и паркам в округе Куинс, за 24 часа собрал материал для обширного автобиографического романного цикла. Выставил акварели в «Римской таверне Джун Мэнсфилд», в Гринвич-Виллидж.

1928 — За год объездил с Джун Европу на деньги, которыми снабдил ее один из поклонников.

1929 — Вернулся в Нью-Йорк и закончил роман «Этот изысканный мир».

1930 — В одиночестве вернулся в Европу, с рукописью еще одного романа, потерянного редактором парижского «Этого квартала» Эдвардом Титусом. Уехал из Нью-Йорка с десятью долларами, ссуженными Эмилем Шнеллоком; намеревался отправиться в Испанию, но пробыв какое-то время в Лондоне, уехал в Париж и там остался. Подружился с Ричардом Дж. Осборном и Альфредом Перле; зиму и весну 1931-32 гг. прожил у Осборна на рю Огюст Бартольди.

1931 — В Люисьенне познакомился с писательницей Анаис Нин.

1932 — Шатаясь по улицам и проводя ночи где придется, начал писать «Тропик Рака». Работал корректором в парижском издании «Чикаго трибюн». Зимой преподавал английский в Лицее Карно в Дижоне.

1933 — Снял с Альфредом Перле квартиру в Клиши и с ним же съездил в Люксембург. Период «Черной весны»; предельно плодотворный, предельно веселый. Начал писать книгу о Д. Г. Лоуренсе, которую так никогда и не закончил. В Европу Джун вернулась, но вскоре попросила развода и уехала.

1934 — В тот же день, когда вышел в свет «Тропик Рака», переехал на Виллу Сера, дом 18; решающий момент. Оригинал рукописи, трижды переписанный, Оказался в три раза длиннее, чем напечатанный вариант. Заочно развелся с Джун в Мексико-Сити.

1935 — В октябре вышел «В Нью-Йорк с возвратом». Познакомился с астрологом Конрадом Мориканом. В ноябре положил начало так называемой «гамлетовской» переписке с Майклом Френкелем. В сентябре появилось первое издание «Писем Альфа».

1936 — С января по апрель снова жил в Нью-Йорке.

Занимался психоанализом. Начал переписку с графом Кейзерлингом, прочитав его «Дневник путешественника». В июне издана «Черная весна».

1937 — Важная встреча с Лоренсом Даррелом. Вышел «Сценарий» с иллюстрациями Эйба Ратнера. С Альфредом Перле начали выпуск журналов «Бустер» и «Дельта». Зимой на несколько недель уехал в Лондон, чтобы навестить Перле. Познакомился с У. Т. Саймоном, Т. С. Элиотом и Диланом Томасом.

1938 — В январе начал писать для французского журнала «Волонте», тогда же опубликовали «Деньги и как они садятся нам на голову». В июне появилось второе издание «Писем Альфа»; в сентябре вышел «Макс и белые фагоциты».

1939 — В феврале вышел «Тропик Козерога», и позже, в течение года — «гамлетовская» переписка с Майклом Френкелем. В июне на год уехал с Виллы Сера. Закончился очень важный период тесного общения с Анаис Нин, Альфредом Перле, Майклом Френкелем, Хансом Рейхелем, Эйбом Раттнером, Давидом Эдгаром, Конрадом Мориканом, Жоржем Пелорсоном, Анри Флюшером и другими. Путешествовал по югу Франции. 14 июля уехал в Афины, в августе посетил Даррелла в его доме на Корфу, в Греции. Несколько раз приезжал в Афины, на острова, побывал в Пелопоннесских горах. До сих пор это остается самой крупной авантюрой в моей жизни. Встреча с Джорджем К. Кацимбалисом («Колоссом»), поэтом Георгиосом Сефериадисом, художником Гикой и другими. Обрел здесь истинный дом, первоклассный климат. Источник регулярного дохода иссяк со смертью парижского издателя (Джека Кахане, владельца «Обелиск-пресс») на следующий день после объявления войны.

1940 — В феврале вернулся в Нью-Йорк, встретился с Шервудом Андерсоном и Джоном Дос Пассосом. Лето провел с Джоном и Фло Дадли в доме Кэресса Кросби в Боулинг-Грин, штат Вайоминг. Написал «Марусийского колосса», «Мир секса», «Тихие дни в Клиши» и начал работу над «Благостным распятием».

1941 — С 20 октября 1940 по 9 октября 1941 — путешествовал по США, какое-то время — в компании художника Абрахама Раттнера. Встречался с доктором Марион Соушон, Уиксом Холлом, Свами Прабхавананда, Альфредом Стиглицем, Фернаном Леже и Джоном Мэрином. Когда я был в Миссисипи, умер отец и мне пришлось вернуться в Нью-Йорк. В июне 1942 года уехал в Калифорнию. Продолжил работу над «Благостным распятием» (написал половину) и «Кошмаром в мире кондиционеров» (закончил две трети).

1943 — Нарисовал от двухсот до трехсот акварелей. С

успехом выставлялся в Беверли-Глен (Зеленый павильон), Американской галерее современной живописи в Голливуде.

1944 — Выставка акварелей в Музее искусств в Санта-Барбаре и Лондоне. Семнадцать или более того книг подготовлены к печати в Англии и Америке. Год свершений и реализации планов. За всю жизнь «удачный» год с материальной точки зрения. В октябре вызвали в Бруклин из-за болезни матери. Побывал в Дартмутском колледже у Герберта Ф. Уэста, штат Нью-Гемпшир, выставлялся в Йеле. 18 декабря 1944 года — в Денвере, штат Колорадо, женился на Джанине М. Лепской. Переехал в Биг Сур — мой первый настоящий дом в Америке. В мае с Аляски приехал Эмиль Уайт, чтобы предложить свои услуги. Встреча с Джин Пэйдж Уортон, которая оказала большое влияние на мое восприятие жизни.

1945 — Закончил «Сексус» в хижине Кейта Эванса на Партингтон-ридж. Начал перевод «Сезона в аду» Артюра Рембо (так никогда и не законченный). 19 ноября родилась дочь Валентина. 26 декабря (в мой день рождения) приехал израильский художник Безалел Шатц.

1946 — В январе переехал в хижину на Андерсон-крик. С Шатцем приступили к работе над книгой «В ночную жизнь», также начал писать книгу о Рембо — «Время убийц». Познакомился с Леоном Шемроем, который позднее купит около 30 моих акварелей. Из Парижа пришло известие, что на моем счету — ни больше ни меньше сорок тысяч долларов, которыми я так и не удосужился воспользоваться. Джин Уортон предложила нам остановиться в ее доме на Партингтон-ридж с условием, что мы заплатим, когда сможем.

1947 — В феврале переехал в дом Уортон на Партингтон-ридж. Начал работать над романом «Плексус». Закончил книгу «В ночную жизнь».

1948 — Написал «Улыбку у подножия лестницы». 28 августа родился сын Тони.

1949 — Закончил «Плексус». Начал работу над эссе «Книги в моей жизни».

1951 — Разошелся с Джаниной Лепской; дети поселились вместе с ней в Лос-Анджелесе. Закончил эссе «Книги в моей жизни».

1952 — В апреле ко мне приехала Ив Макклюр. Начал писать роман «Нексус». Развелся с Джаниной Лепской. 29 декабря отправился в турне по Европе с Ив. В канун нового года прибыл в Париж.

1953 — Знаменательный год — лучший после Клиши. Приглашен остановиться в доме Мориса Надо — в недавнем

прошлом редактора газеты «Комба» и основного организатора кампании «В защиту Генри Миллера». Побывал в доме Рабле в пригороде Шинона, затем в Уэльсе, в Англии, где повидался с Перле и его женой. С Шатцами посетил дом Шекспира в Стрэтфорде-на-Эйвоне. Мимолетный визит к Джону Кауперу Поуису в Корвине, Уэльс. Назад в Париж. В конце августа вернулся в Биг Сур. В декабре женился на Ив Макклюр в Кармел Хайлендс.

1954 — В ноябре приехал Альфред Перле, чтобы написать книгу «Мой друг Генри Миллер». Выехал с выставкой акварелей в Японию. Начал писать книгу эссе «Биг Сур и апельсины Иеронима Босха».

1955 — Ко мне приехала дочь от первого брака, Барбара Сэндфорд; я не видел ее с 1925 года. В мае Перле уехал в Лондон. Меня посетил бенгальский поэт Буддхадева Боз из Калькутты. Написал «Снова в Барселоне».

1956 — В январе вместе с Ив уехал в Бруклин ухаживать за умирающей матерью. Там познакомился с Беном Грауэром из «Эн-Би-Си» и записал пластинку «Вспоминает и размышляет Генри Миллер». Вернулся в Биг Сур. На иврит переведен и выпущен сборник коротких рассказов «В половине первого ночи». Закончил книгу эссе «Биг Сур и апельсины Иеронима Босха».

1957 — Переработал «Тихие дни в Клиши», обнаружив рукопись, утерянную 15 лет назад. Выставка акварелей в лондонской «Гэллери-Уан». Полностью переработал «Мир секса» для парижского издательства «Олимпиа-пресс». Выставка акварелей в Иерусалиме и Тель-Авиве. Начал писать «Лимонную ветвь и измену» и бросил, чтобы продолжить работу над романом «Нексус». Избран членом Национального института искусств и наук.

1958 — Продолжил работу над «Нексусом».

1959 — В начале апреля закончил «Нексус». 14 апреля уехал в Европу с Ив и детьми. Два месяца снимал студию на рю Кампань-Премьер в Париже. По пути в Копенгаген вместе с детьми заехал к датскому издателю; Джеральд Робитайль взял на себя роль «воспитателя». Первая встреча с композитором Антонио Бибало — автором оперы «Улыбка у подножия лестницы». В середине августа вернулся в Биг Сур. Написал три письма, составившие книгу «Искусство и бунт» (Перле-Даррелл).

1960 — Написал «Рисовать — значит снова любить». 4 апреля в качестве члена жюри отправился в Европу на Каннский кинофестиваль. Несколько дней провел в Париже, затем — в Гамбурге, чтобы войти в контакт с издательством «Ледиг-Ровольт» в Рейнбеке. Там впервые встретился с Ренатой Герхардт.

После поездки во Францию и Италию вернулся в Биг Сур. Снова уехал в Европу. В Рейнбеке написал предисловие к новому изданию «История искусства» Эли Фора (издательство «Галлимар») и несколько небольших рассказов, включая один (сумасшедший) на немецком, под названием «Ein Ungebumbelte Fuchselbiss» для маленького журнальчика «Риносерос». Также — рисунки и акварели для редактора обозрения Рудольфа Динста. Нарисовал несколько акварелей и часто играл в пинг-понг в здании издательства «Ровольт». С Ледигом и другими съездил в Мельн (на родину Тиля Уленшпигеля), Бремен и другие места. За рождественские каникулы сделал первые наброски пьесы «Ума не приложу, что делать с Гарри», вдохновленной Ренатой Герхардт. 1961 — Посетил Германию, Австрию, Швейцарию, Италию, Португалию и Испанию. Виделся с Марино Марини — известным скульптором, который изваял мою голову в бронзе. В ноябре вернулся из Лондона на Пасифик Пэлисадс. В этом году «Гроув пресс» издало «Тропик Рака».

1962 — Пока находился на Пасифик Пэлисадс, взялся за второй том «Нексуса». Съездил в Лондон, чтобы встретиться с Перле и записать с ним передачу для канадского телевидения. С ним и его женой на месяц уехал у Ирландию. Затем снова в Париж — повидаться со старыми и новыми друзьями. Поехал в Берлин, где в доме Ренаты Герхардт сделал десять гравюр на меди и множество акварелей. В июне получил от Ив заключительное решение о разводе. В июле вернулся на Пасифик Пэлисадс. В середине июля уехал в Эдинбург поприсутствовать на писательской конференции. Там встретил Даррелла и его друга доктора Реймонда Миллза. Записали с Дарреллом пленку для Би-Би-Си (интервьюировал Джеффри Бридсон). Уехали с Дарреллом в Париж, где записали на пластинку выдержки из наших книг для серии «Голос писателя». Оба «Тропика», изданные на итальянском (в Швейцарии), а «Тропик Рака» — и на финском, немедленно изъяты из продажи. Одновременно «Тропик Рака» вышел на иврите, в двух томах, в бумажной обложке. «Гроув пресс» опубликовало «Тропик Козерога». В конце ноября вернулся в Пасифик Пэлисадс.

1963 — «Тропик Рака» издал в Англии Джон Гэлдер — огромный успех. Написал пять или шесть предисловий для книг других авторов: Джека Бильбо, Х. Э. Бейтса, Джорджа Дибберна и т. д. Также — текст к рисункам Энни Пуэр в альбоме «Греция», выпущенном «Вайкинг пресс». «Гроув пресс» выпустило «Тропик Козерога» в бумажной обложке. В издательстве «Даттон» опубликована моя «Частная переписка» с Лоренсом Дарреллом, а в «Гроув пресс» — «Черная весна». В колледже Непорочного

Сердца, в Голливуде, начал вместе с монахинями расписывать шелковые драпировки.

1964 — «Нью дайрекшнз», Нью-Йорк, издало антологию «Генри Миллер о сочинительстве».

1965 — Выставка акварелей в «Вэствуд арт ассосиэшн», в Лос-Анджелесе. Смерть Ив, моей третьей жены. В апреле — постановка оперы «Улыбка у подножия лестницы» в Германии, в Гамбурге. Огромный успех. В Лондоне издательство «Макгиббон энд Ки» опубликовало 2-х томник «Избранной прозы». В Нью-Йорке «Патнэмз сане» издали мои «Письма к Анаис Нин».

1966 — «Лоуджон пресс» (Лас-Вегас, штат Невада) издало книгу «Порядок и хаос: посвящается Хансу Райхлю».

1967 — Во Франции, в Марселе, на французском поставили оперу «Улыбка у подножия лестницы». Роберт Снайдер приступил к съемкам фильма «Одиссея Генри Миллера». Начал изучать японский с Митио Ватанабе. 10 сентября, в Беверли-Хиллз женился на Хоки Токуда. В сентябре — уехал с Хоки в свадебное путешествие в Париж. Выставка акварелей в парижской галерее «Даниэль Жерве». Вернулся из Европы в Пасифик Пэлисадс. Выставка акварелей в Упсале, Швеция. В декабре — постановка оперы «Улыбка у подножия лестницы» на итальянском в Триесте, в Италии.

1968 — В марте ко мне в Пасифик Пэлисадс приехал Лоренс Даррелл. Выставка акварелей обошла Японию. «Поиск коллекционера» — книгу переписки с Дж. Ривсом Чайлдсом — выпустило университетское издательство в штате Вирджиния. При участии Брэдли Смита начал работу над историей в картинках — книгой «Моя жизнь и моя эпоха» Генри Миллера. В Нью-Йорке «Гроссмэн» опубликовало новое издание эссе «Рисовать — значит снова любить». В него вошло «Подобие истового прошлого».

1969 — Премьера фильма «Одиссея Генри Миллера» в Ройс-Холле, в Калифорнийском университете, Лос-Анджелес. В июне уехал в Европу посмотреть, как идут съемки фильма «Тропик Рака».

1970 — В США состоялись премьеры фильмов «Тропик Рака» и «Тихие дни в Клиши». В Сан-Франциско издательство «Ферст импрешез» напечатало и распространило две цветные литографии моих акварелей. В Японии «С. Кубо» напечатало и распространило три цветные литографии моих рисунков. «Лоуджон пресс» (Лас-Вегас, штат Невада) издало «Бессонницу, или Дьявол на воле». В Париже при участии Жоржа Бельмона вышла книга моих радио- и телеинтервью «Entretiens de Paris».[7] В Неаполе удостоена награды «Лучшая книга года» моя книга

«Застынь как колибри» («Come il colibri»). Это первая и единственная награда, которую я когда-либо получил за свой литературный труд.

1971 — В Париже идут репетиции моей пьесы «Ума не приложу, что делать с Гарри». В издательстве «Плейбой пресс» вышла «Моя жизнь и моя эпоха» Генри Миллера.

Перевод З. Артемовой

notes

Примечания

1

Прекрасный день *(фр.) (здесь и далее — прим. пер.)*.

2

Непременным условием *(лат.)*.

З

Зал исчезнувших шагов *(фр.)*.

4

Гурман *(фр.)*.

5

Сутенерам *(фр.)*.

6

Короткие рассказы *(англ.)*.

7

Парижские интервью *(фр.)*.